

# РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ

Лев ГУДКОВ

## «Доверие» в России: смысл, функции, структура<sup>1</sup>

**Предварительные замечания.** Явное исчерпание больших идей в современной социологии, связанное с концом модернизационной парадигмы и завершением институциональной трансформации в западных (национальных) обществах, заставляет думать уже не о внутридисциплинарном кризисе, а о переходе социологии в разряд социально-прикладных разработок, то есть о ее приближении к состоянию, которое можно считать конечной стадией всякой (классической) науки. Социология здесь не уникальное явление. Еще раньше, задолго до социологии, говорили о кризисе европейской философии, культуры, искусства, религии. Конец модерна как завершение эпохи Просвещения или большого европейского проекта Культуры сопровождался множественными явлениями распада больших онтологических конструкций и идей единства универсума, истории, общности человеческой природы, законов социального развития, а соответственно, и падением интереса к большим теориям общества, социальных систем и т.п. Критики говорят о самоедстве и культурном мазохизме современного общества, об эрозии тех ценностных оснований (веры в исторический прогресс), на которых строился современный социальный порядок и социальное знание. Появление мощных супербюрократий, вроде ЕС, транснациональных корпораций, международных организаций и т.п. оказало заметное унифицирующее влияние на национальные социальные и правовые практики и локальные культуры. Политика как сфера проявления харизматиче-

ских фигур, предложения великих национальных идей или воодушевляющих массы целей общественного развития постепенно все сильнее и сильнее ограничивалась парламентской регламентацией, стерилизовалась практикой бюрократического администрирования, подчиняясь долгосрочному социальному планированию, экспертизе специалистов, массмедийным технологиям. Повседневная жизнь в современных обществах стала более упорядоченной, чем в первой половине 20-го века, обеспеченной, безопасной, комфортной, предсказуемой и скучной, если судить по доминирующему тону в современном искусстве и литературе, озабоченных неясностью или дефицитом экзистенциальных ценностей.

Такой идеологический или интеллектуальный климат оказывается не слишком благоприятным для развития социологии как науки о меняющейся социальной действительности, науки, озабоченной вопросами понимания Другого или последствиями взаимодействия с ним. Кризис социологии (если, конечно, согласиться с тезисом, что он действительно имеет место) не носит драматического характера и проявляется довольно вяло, поскольку смутное недовольство, вызываемое отсутствием новых значительных теоретических идей и направлений, сопоставимых со структурно-функциональным анализом или с символическим интеракционизмом, систематизировавших оригинальные идеи основоположников дисциплины, компенсируется удовлетворением от все умножающейся массы прикладных исследований и предметных разработок, ведущихся по самому широкому кругу тем. Нет сомнения, что мы стали больше знать о тех обществах, в которых мы живем, но это не прибавляет радости и во многом перестало быть *интересным*. Дисципли-

<sup>1</sup> В основе статьи лежит доклад автора «Trust in the post-soviet Russia» на конференции: «Trust and Distrust in the USSR» (17–18 февраля 2012, School of Slavonic & East European Studies, University College London), организованной профессором Дж.Хоскингом.

на давно потеряла не только свой начальный энтузиазм и эпистемологический идеализм, но и четкость парадигмальных разграничений среднего периода своего развития (1940-1960-х годов), зато приобрела солидность практической, почти инженерной, науки, к которой обращаются многие заинтересованные лица, включая и представителей смежных дисциплин — экономисты, историки и другие. Этому упрочению статуса социологии отчасти способствовал процесс неизбежной «эклетики», позитивного соединения разных теоретических и методологических подходов для решения аналитических или дескриптивных задач среднего и микроуровня социального взаимодействия. Критика 1970-80-х годов прошлого века, исходившая из разных ценностных оснований, проделала чрезвычайно важную работу: она отделила философские элементы, исходные резидуумы знания, онтологические основания знаниевых парадигм от техники описания и объяснения. Благодаря этому стала возможной инструментализация процедур анализа и объяснения, использование отдельных элементов структурно-функционального, системного или какого-то иного из имеющихся теоретических подходов в качестве эвристических приемов или готовых «ключей» для решения частных контекстуальных задач. Сочетание разных понятийных средств для работы с разнородным предметным материалом получило теперь уже методологическое узаконение в эмпирической практике и в идеологии «постмодернизма».

Сама по себе потребность в «синтетическом» рассмотрении социальных явлений и процессов стала ощутимой после успеха структурно-функционального анализа (в 1960-х годах) и последовавшей реакции на него в виде методологической критики, опиравшейся на самые разные идеологические и ценностные основания. Критика стала условием и формой рецепции структурного функционализма, освоения его потенциала. Особую роль в этом деле сыграло появление «феноменологической», «гуманистической», «радикальной» и т.п. социологии, включая обращение к драматургическому или сценарному подходу И. Гофмана, а затем и к этнометодологии. В этом же контексте имеет смысл рассматривать и попытки возродить «понимающую социологию» культуры<sup>1</sup> в духе

<sup>1</sup> Гудков Л. Социология культуры: научно-аналитический обзор тематического номера «Кёльнского журнала по социологии и социальной психологии», посвященного восстановлению идеи социологии культуры (1978) // Культурология. М., ИНИОН, 2012, №1 (60) (серия «Теория культуры»), с. 40–115.

Вебера или Зиммеля, предпринятые в конце 1970-х — начале 1980-х годов в Германии, либо стимулировать «culture studies» в англоязычных странах, моду на постмодернизм и т.п. Критике удалось стимулировать интерес к смысловому (культурному) бэкграунду социальных институтов, историзировать саму суть социологической проблематики, связав те или иные постановки вопроса исследования с конкретными институциональными или групповыми интересами и проблемами, насытить социологические схемы историческим материалом и многое другое в том же роде. Это дало сильнейший импульс к расширению предметной социологической тематики, привлечению внимания к проблематике повседневного «жизненного мира», но одновременно таило в себе опасность размывания границ социологической работы.

Как обычно бывает в таких случаях, последствия подобной работы с универсальными теориями (Т. Парсонса и его многочисленных последователей, Н. Лумана и других) были непрямыми и весьма неоднозначными. Для самой социологии это вылилось в утрату большой перспективы дисциплины, в зарастание предметного поля «мелкотемьем», но размывание дисциплинарных границ социологии стимулировало рецепцию смежными дисциплинами отдельных идей и приемов социологии, осознание новых возможностей для объяснения уже своего материала и появление новых точек зрения на старый, короче — для формирования новой проблематики в рамках своего предмета. Так, в экономике, едва ли не впервые после Вебера, была осознана значимость не только институционального анализа (неоинституционализм), но и «культуры», со всем спектром вопросов человеческого существования — доверия, веры, образования, семейного воспроизводства (цены социализации) и т.п. аспектов «человеческого капитала».

Нельзя сказать, чтобы подобная «экономизация» традиционной социологической тематики («перевод» неэкономических форм поведения — традиционного или ценностно-рационального действия, например, воспитания детей, семейных отношений, политики и проч. — в категории целерационального действия, то есть их интерпретация по образцу других экономических отношений) была очень уж успешной в теоретическом плане, скорее нет; однако сама грубость или простота подобных аналогий экономизации неэкономической сферы (например, у Г. Беккера), была предпосылкой расширения предметного поля эконо-

мической науки. Нечто подобное происходило и в других дисциплинах.

Для российской социологии эти перипетии внутридисциплинарной эволюции докатились с большим запозданием, с искажениями и никак не отразились на теоретическом качестве ее общих интерпретационных схем. Догоняющий характер российской модернизации и ведомственный характер социологии в России, ее финансовая и организационная зависимость от государственной бюрократии обернулись утрированным копированием новейших авторов (скорее даже – модных образцов), эпигономством и некритическим заимствованием западных подходов, ставших обязательными для подражания. Организация социологии в России почти не допускала появления независимых научных позиций и научных авторитетов. Следствием этой интеллектуальной зависимости и слабости стало затянувшееся влияние транзитологических концепций, а затем и угасание общего интереса социологов к текущим процессам в стране, который был так ощутим в 1960–1970-е годы, во время становления советской социологии и при первых симптомах разложения тоталитарного режима.

Однако в интеллектуальной истории российской социологии было одно, но настоящее исключение: Ю.А. Левада, который еще в конце 1960-х годов в рамках программы сектора «Методология исследования социальных процессов» ИКСИ, поставил задачу не просто осмысления опыта и границ применения западной социологии, в первую очередь – структурного функционализма, но и соединения его концептуальных и теоретико-методологических возможностей с арсеналом других дисциплин, включая сюда исторические науки, науки о культуре, антропологию, политологию и проч. Он выдвинул методологическое требование выявлять в каждом конкретном случае социологического описания или анализа социального явления не только актуально значимые институциональные или групповые рамки поведения, но и указывать на историчность или гетерогенность их смыслового обоснования, наличие разных по глубине культурных слоев (включая пространственные и временные характеристики действия), определяющих сами нормы и правила социального поведения. По существу, это было чем-то вроде возвращения к исходным или собственным задачам социологии, которую, например, Вебер формулировал для себя как анализ взаимодействия «идей» (культуры) и «интересов» (социальной системы), определяющих социальные

структуры повседневности. Такая программа по своим интенциям была прямо противоположна тому, что предлагал, например, тот же Г. Беккер – автор, весьма авторитетный среди экономистов и популярный у нас в стране. Левада настаивал на необходимости расширения интерпретационного контекста экономического поведения или урбанизационных процессов, снимая тем самым идеологические и дисциплинарные барьеры с понимания многослойности структур «современности»<sup>1</sup>. Его подход можно описать следующим образом: то, что нам представляется самоочевидным, естественным, само-собой-разумеющимся и не требующим специального разъяснения или обоснования, представляет собой не просто результат синтеза разных культурных форм (а значит – итог длительного исторического формирования или развития, трансформации больших ценностных идей и их снижения), но и закреплено особыми нормами «очевидности», защищающими подобные смысловые значения от рационализации и «расколдовывания». Чаще всего в качестве подобной нормы самоочевидности выступает форма целерациональности или инструментальности действия как «естественной» характеристики современности. Другими словами, институциональное принуждение к дисциплине и самоотчету, самоконтролю и ответственности индивида в современном обществе выступает в качестве императива инструментальной рационализации поведения, включая и свое собственное, и нормативные ожидания аналогичного поведения от любого другого. Именно эта норма навязываемой различными доминантными социальными институтами ответственности делает «непроблематичными», самоочевидными формы современности, вытесняя (а иногда и запрещая) любые другие варианты мотивов действия или их интерпретации как девиантные. Инструментальная рациональность становится образцом антропологии современного человека, что во многих случаях приводит к массе недоразумений и к ошибкам в интерпретации социального поведения при анализе экономических явлений, электоральных процессов, политики, этнических фобий, национальных конфликтов и т.п.

<sup>1</sup> См. его статьи: «Проблемы экономической антропологии у К. Маркса»; «Культурный контекст экономического действия»; «Социальные рамки экономического действия» и др. – В кн.: Левада Ю. Статьи по социологии. М., 1993, с. 61–123 (перепечатаны в сборниках работ Ю.А. Левады и воспоминаний о нем, составленных и изданных Т.В. Левада: «Памяти Ю.А. Левады», М., 2010, с.367–380; Левада Ю.А. Проблема человека. Очерки и статьи. М. 2011, с. 8–28 [все 6 сборников вывешены на сайте Левада-Центра в разделе «Книги и отчеты»]).

Направленность исследовательских интересов Левады явно противоречила общему духу нынешних социальных наук — процессу тривиализации знания<sup>1</sup> (и не только в России), но оказалась, по-моему, чрезвычайно плодотворной для всего круга исследований, начатых им в рамках проектов старого ВЦИОМ, а потом Левада-Центра и представленных в его сборниках статей<sup>2</sup>. Я имею в виду прежде всего проблематику программы «Простой советский человек» и примыкающих к ней исследований структуры массового сознания, отношения к власти, к социальным переменам, проблематику национальной идентичности. Особенность работы Левады заключалась в том, что он развертывал текущие явления, схватываемые в языке повседневного опыта (в нашем случае — языке опросов общественного мнения), в контексте тектонических изменений, происходящих в тоталитарном, а затем и посттоталитарном социуме, а потом переводил их на язык соответствующих концепций и теорий культурно-исторических процессов, позволявших интерпретировать их в категориях и понятиях «большого времени». И этого же он ожидал от своих сотрудников.

Следуя намеченному Левадой методологическому направлению работы, я в своих статьях по проекту «Советского человека» старался разобрать и показать, как в обыденном, не специализированном языке свернуты социальные характеристики различных структур взаимодействия, включая институциональную организацию постсоветского общества. Первым опытом такого рода был анализ «простоты» (одного из ключевых самоопределений советского человека) как отражения примитивной и репрессивной организации общества. Приемы подобной интерпретации модернизационных элементов в структуре национальной идентичности, полученные в ходе разбора стереотипов этнического самоописания у русских, позднее были инструментализированы и применены уже более осознанно для анализа феноменов «зависти», национальной «гордости», «страхов» и фобий разного происхождения, апатии и других квазипсихологических явлений, характерных для постсоветского массового человека. Продолжением этой линии работы (в той мере, в какой мы можем соответствовать за-

мыслу Левады), я хотел бы считать и данный разбор феномена «доверия»<sup>3</sup>.

**1. Общие характеристики институционального «доверия» в России.** Социологические исследования в России, проводимые на протяжении более 20 лет Левада-Центром, показывают двойственный характер явлений «социального доверия» в российском обществе. Повседневное практическое недоверие, высказываемое по отношению к окружающим (малознакомым) людям, сопровождается, или компенсируется, высоким декларативным доверием к трем особо значимым символическим институтам: а) к главе государства; б) к церкви и в) к армии.

Самые высокие значения «доверия» относятся к персонификации полноты власти — тому, кто считается хозяином страны, кому пропаганда старается придать черты то ли «царя», то ли «национального лидера». В первых замерах это был М. Горбачев, затем, после неудачного путча, его сменил Б. Ельцин, теперь — Путин, сохранявший максимум «доверия» населения даже во времена, когда власть, пусть номиналь-

<sup>3</sup> В советское время никаких, а не только что надежных, данных об отношении населения к власти или доверии к институтам не было и быть не могло, поскольку сам вопрос такого рода отдавал идеологической крамолой. Практика социологических исследований полностью контролировалась партийными органами и КГБ. О характере доверия мы можем судить по косвенным признакам, тематизации этих напряжений в художественной литературе или кинематографе, дневникам или воспоминаниям, что лишает их сравнительной значимости. Литература и искусство в силу их специфики могли лишь подчеркивать значимость идеологической нормы «доверия» обывателей к власти или тематизировать культурные и социальные напряжения, возникающие в тоталитарном обществе, но оценивать их силу и функциональную роль в строгом смысле крайне сложно. Тема собственно «доверия» в советском искусстве и литературе никогда не была в центре внимания. В 1920-е - первой половине 30-х годов проблематика человеческого доверия возникает лишь у писателей и драматургов «второго» плана (А. Афиногенов, Н. Островский), полупризнанных, скорее даже - путчиков (В. Шкваркин, М. Булгаков, А. Платонов, Ю. Олеша), а затем уходит до конца сталинского периода и хрущевской «оттепели». На первом плане с конца 1920-х годов будут стоять идеологически проверенные сюжеты, связанные с идейной бдительностью, с паранойей тотального недоверия всех ко всем (кроме навязанного и принудительного доверия к руководителям «партии и правительства»), выявлением классовых врагов, разделением на «своих», или «социально близких», и «чужих», «предательством» и т.п. И лишь с началом осмысления опыта репрессий, Второй мировой войны, разложения советской идеологии постепенно в литературе и кино предпринимаются попытки как-то затронуть эту тематику вне идеологических параметров (К. Симонов, П. Нилин, Ю. Трифонов, Ф. Искандер, Ч. Гусейнов, Л. Петрушевская, К. Воробьев, В. Тендряков, В. Арро, В. Быков, В. Астафьев, А. Солженицын и другие). Чаще это связано со стремлением понять природу советской «морали» и корни повседневной жестокости. Но анализ этих аспектов проблемы доверия выходит за рамки данной работы и заслуживает отдельного, самого тщательного исследования.

<sup>1</sup> Tenbruck F.H. Der Fortschritt der Wissenschaft als Trivialisierungsprozess. — In: Wissenschaftssoziologie. Studien und Materialien. — Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Opladen, 1976, SH.18.

<sup>2</sup> Левада Ю. От мнений — к пониманию, М., 2000; Левада Ю. Ищем человека. М., 2006.

но, принадлежала его «дублю» – суррогатному президенту Д. Медведеву.

Другие социальные институты – СМИ, правительство, политическая полиция и спецслужбы, региональная и местная администрация, российский псевдопарламент, система правосудия, силовые структуры (полиция, прокуратура), бизнес, финансовые организации, местные власти, политические партии и профсоюзы и т.п. – находятся в зоне полудоверия и большего или меньшего недоверия населения (табл. 1). По отношению к этим институтам, определяющим общественную и повседневную жизнь россиян, проявляются устойчивые негативные установки – подозрительность и отчуждение, смесь страха и отвращения (особенно – к полиции, суду, но также и к депутатам, политикам), нежелание иметь с ними дело, кроме как в случаях крайней нужды или в чрезвычайных обстоятельствах<sup>1</sup>.

За выражением «доверия» россиян к опорным институтам можно видеть сохраняющиеся

радикалы или остатки «тоталитарного синдрома», описанного когда-то К. Фридрихом и З. Бжезинским, признаки уходящей либо распадающейся, но когда-то единой, структуры государственного идеологического и террористического господства. Сегодня от прежней организации общества остался лишь фантом патерналистской власти, претендующей на то, чтобы, как и раньше, быть тотальной, но фактически лишь имитирующей некоторые черты «партии-государства». Лишившись коммунистической идеологии, режим утратил характерную для советской эпохи легитимацию, частью которой был заботливо поддерживаемый пропагандой социальный оптимизм, обеспечение массовой уверенности в «лучшем будущем», то есть довольно умеренном, но гарантированном улучшении повседневной жизни. Когда эта уверенность или иллюзия обеспеченного будущего, разрушенная чередой социальных и экономических кризисов и потрясений 1990-х годов, у населения исчезла, институциональная

Таблица 1  
**ДОВЕРИЕ К ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ**

	Полное доверие	Неполное доверие = частичное недоверие	Полное недоверие	Затруднились ответить	Индекс доверия*
<b>Премьер-министр (Путин)</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>42</b>
Президент (Медведев)	50	34	9	7	41
Церковь, религиозные организации	49	25	10	16	39
Армия	37	36	13	14	24
СМИ	30	47	16	7	14
Правительство	30	45	17	8	13
Органы госбезопасности, спецслужбы	26	37	16	21	10
Региональные власти	28	40	22	10	6
Российские коммерческие банки	24	39	18	19	6
Малый и средний бизнес	23	39	18	20	5
Совет Федерации	22	44	17	17	5
Прокуратура	22	37	21	20	1
Госдума	21	47	22	10	-1
Местные власти	23	41	26	10	-3
Суд	19	43	22	16	-3
Милиция/полиция	20	40	29	11	-9
Крупный бизнес	16	37	26	21	-10
Профсоюзы	16	31	26	27	-10
Политические партии	10	44	30	16	-20

\* Индекс доверия построен по формуле: ответы «полное доверие» + ½ «неполного доверия» минус ½ «неполное доверие» + «полное недоверие»

Ранжировано по индексу доверия. Октябрь 2011; в % к числу опрошенных. N=1600

<sup>1</sup> Levada Yu. The Problem of Trust in Russian Public Opinion // Trust and Democratic Transition in Post-Communist Europe. Proceedings of The British Academy, 2004, vol. 123, p.157-172.

система предстала в обнаженном виде — авторитарного и коррумпированного режима, пытающегося навязать представление о своей безальтернативности, опираясь, главным образом, на силовые структуры (включая суд) и пропаганду.

Такая композиция доверия, как показывают наши исследования за длительный период наблюдений (начиная с февраля 1993 года), очень стабильна<sup>1</sup> (см. Приложение, табл. 1-3). Это означает, что распределение мнений не зависит от интересов отдельных групп в обществе, а отражает более глубокие слои массовых представлений, слабо реагирующие на актуальные изменения. Устойчивость массовых установок указывает на то, что подобные представления и стоящие за ними мотивы социального поведения выведены из сферы текущих политических и социальных конфликтов, что это *институционализированные* отношения, а стало быть — они воспроизводятся в полном объеме, несмотря на смену поколений и приход новой генерации, заменяющей уходящих «советских людей» и «людей эпохи перестройки». Условиями подобного воспроизводства следует считать процедуры массовой социализации и правовую закрепленность таких механизмов воспроизводства (санкции обычного права и формальная судебная практика).

В отношении к властным институтам, включая и высших представителей власти, прослеживаются два противоречивых плана: первый указывает на признание важности соответствующего института (его места в ряду других институтов), второй — на практическую оценку деятельности функционеров этого института (или степени адекватности того, чем они занимаются, относительно идеальных представлений о том, как и чем они должны заниматься)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Единственным значимым отклонением на протяжении почти 20 лет была смена знака в отношении населения к Ельцину с плюса на минус и последующее восстановление символической значимости позиции президента уже при Путине. В 1990-1992 гг. рейтинг Ельцина составлял 65-75%, то есть столько же, сколько Путин имел в 2000-е годы, но, начиная с 1993 года и до своего ухода в 1999 г., Ельцин терял доверие населения: уже в 1994 году у него было 16%, в 1996 — 22-32% (электоральная мобилизация на президентских выборах), в 1999 г. — 2%.

<sup>2</sup> Ю.А. Левада так раскрывал спектр значений доверия к институтам и отдельным политикам: «Доверие к властным институтам предполагает делегирование полномочий, одобрение курса, лояльность, надежду на достижение каких-то позитивных изменений, готовность дожидаться этих изменений и т.д. Далеко не всегда о характере общественного доверия можно судить по соответствующим заявлениям опрошенных. <...> За показателем доверия к отдельным деятелям можно разглядеть такие феномены, как персонализация института (отождествление исполнителя с должностью; в нашей реальности это относится к должности и персоне президента), отношение к имиджу, признание заслуг,

Большинство государственных институтов россиянами по инерции воспринимаются как продолжение или вариации прежних (советских) органов репрессивной, бесконтрольной, государственной власти. Они, по мнению респондентов, не ориентированы на защиту интересов обычных людей, населения страны, поскольку, как полагает основная масса населения, предназначены исключительно для защиты интересов высшей власти или обслуживающей ее коррумпированной бюрократии (см.: Приложение, табл. 3, 7-9). Именно поэтому «неполное», или частичное, доверие, точнее, смесь принудительного, вынужденного доверия с настороженностью и латентным недоверием является социальной доминантой практического поведения абсолютного большинства россиян в постсоветское время. Предполагавшаяся в начале реформ 1990-х годов транзитологическая схема эволюции социального доверия (перераспределение мнений от «значимости» к «адекватности» функций институтов запросам и представлениям населения и, соответственно, усиление доверия им в силу растущей эффективности обеспечения ими подобных запросов) не осуществилась в реальности. Поэтому большая часть показателей доверия (неполное доверие) по-прежнему включают обе эти составляющие отношения к институтам, однако, удельный вес каждой из них — разный: в отношении к доминантным институтам (президент, церковь, армия) преобладает признание символической значимости института (при низкой латентной оценке их практической эффективности в выполнении задач управления, религиозно-этической работы в миру, боеспособности и морального состояния рядового состава); в отношении же к прочим институтам (парламенту, суду, местной власти, полиции, партиям, профсоюзам) их символическая значимость (идеальное представление об их функциях) снижается пропорционально усилению негативной оценки их практической деятельности, степени несоответствия эмпирического функционирования идеальным представлениям граждан о том, что и как должны делать

харизматические надежды, сопоставление с другими по принципу «меньшего зла» и пр. В минимальной мере присутствуют в таких показателях реальные оценки реальных действий определенных политических фигур и должностных лиц. Тем более что подобные оценки зависят от масштаба ожиданий в отношении этих лиц. Массовые ожидания, в свою очередь, определяются характером общественной системы, историческими обстоятельствами («норма» или «перелом»...). — Левада Ю. Механизмы и функции общественного доверия — В кн.: Левада Ю. Ищем человека. Социологические очерки. 2000-2005, М., Новое издательство, 2006, с. 177.

функционеры данного института, привычному разочарованию от характера их исполнения. Этот внутренний диссонанс и составляет двойственность представлений о социальном порядке посткоммунистического социума. Проблема усугубляется тем, что меняются (особенно в наиболее модернизированных социальных средах, ориентированных на западные образцы) и сами основания для признания символической значимости доминантных институтов. Но об этом ниже.

Общие показатели институционального доверия к властным структурам распределяются следующим образом: степень доверия (= признание значимости) снижается от самых молодых, а также низко образованных респондентов, демонстрирующих наибольшую поддержку власти в целом и конкретно В. Путину, к 30-летним россиянам, более зрелым и более образованным (минимум доверия); от жителей провинциальных, средних по численности населения городов (максимум доверия) к москвичам (максимум прагматического недоверия к власти), от неинформированных групп к самым информированным гражданам, использующим все каналы получения информации и имеющим доступ к интернету. Хотя размах колебаний здесь не слишком велик, но он устойчив и статистически значим.

**2. Доверие в структурах неформального взаимодействия.** Реальные (практические, а не декларативные), постоянно подтверждаемые доверительные отношения возникают и фиксируются лишь в очень узких пределах: только внутри малых коллективов и сообществ, прежде всего – в семье или в кругу близких родственников, среди коллег по работе, в дружеских компаниях<sup>1</sup>. В сельской местности или в фабрично-слободской среде (характерной для малых городов и ПГТ) отмечается также и

<sup>1</sup> Специальный анализ, например, семейных отношений свидетельствует, однако, о том, что и внутри семьи воспроизводятся все те же проблемы, что и в «большом сообществе», что и здесь обнаруживается острый дефицит доверия и солидарности, что и семья переживает тяжелые конфликты, связанные с неясностью принципов распределения ресурсов, эрозией авторитета или неупорядоченностью социальных ролей, в особенности, между поколениями. О сплоченности и доверии в подобных группах можно говорить только в сравнении с аморфностью и слабостью социального доверия в больших ассоциациях и институциональных структурах. – См.: Зоркая Н. Проблемы повседневной жизни семьи. "Бедность" как фокус восприятия повседневных проблем // Вестник общественного мнения, 2003, №1 (63); Зоркая Н., Леонова А. Семья и воспитание детей: частные изменения или системный сдвиг? // Отечественные записки, 2004, №3 - [http://magazines.russ.ru/oz/2004/3/2004\\_3\\_5.html](http://magazines.russ.ru/oz/2004/3/2004_3_5.html)

более высокое доверие к соседям. Здесь формальные структуры институционального взаимодействия соединяются с неформальными отношениями, что придает им особый характер и прочность<sup>2</sup>.

Доверие в структурах отношений неформальных или традиционно регулируемых институтов радикально отличается от «доверия» в формальных институтах, поскольку оно предполагает разные смысловые основания взаимоотношений «доверия» (в том числе – специализированные роли и нормы отношений в одних и недифференцированные отношения в других). В зонах этого типа доверия действуют своеобразные, партикуляристские формы социального контроля и взаимной ответственности, предполагающие солидарность лишь со «своими», нормы которой не распространяются на «несвоих» и «чужих».

Различия (и национальная специфика) «социального доверия» отчетливо проявляются лишь при международных сравнительных исследованиях, при сопоставлении российских данных с распределением ответов в других странах, полученных в ходе социологических опросов, проведенных по общей согласованной методике (табл. 2).

Из приводимых в табл. 2 распределений следует, что самый высокий уровень социального межличностного (но не психологического) доверия мы наблюдаем в странах завершенной модернизации, с доминированием западных ценностей, имеющих своим источником протестантскую культуру методического самоконтроля и самодисциплинирования, индивидуализма, ответственности<sup>3</sup>. Именно там сложилась сеть организаций гражданского общества и высокий уровень муниципального самоуправления, именно там государственный

<sup>2</sup> Само по себе соединение формальных и неформальных структур взаимодействия – одна из самых разработанных тем в социологии (социологии труда, организаций, военной социологии, исследований семьи и т.п.). Для постсоветской социологии эти проблемы интересны лишь тем, что очень часто формальные и неформальные структуры взаимодействия имеют идеологически и культурно разнонаправленный и противоречивый характер, то есть функциональная роль их существенно различается, что заставляет подключать для их интерпретации разный понятийный аппарат, в том числе – и теории тоталитаризма.

<sup>3</sup> Другие межстрановые исследования, аналогичные указанному, могут расширять и дополнять сам список стран с высоким уровнем доверия, однако их результаты повторяют общие закономерности приводимых здесь распределений. – European Social Survey (ESS) 1999; 2007 ([www.europeansocialsurvey.org](http://www.europeansocialsurvey.org)); Белянин А.В., Зинченко В.П. Доверие в экономике и общественной жизни. М., Фонд «Либеральная миссия», 2010.

Таблица 2

**ИНДЕКС МЕЖЛИЧНОСТНОГО ДОВЕРИЯ<sup>1</sup>**Распределение ответов на вопрос: **С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?**

А – Людям почти всегда следует доверять

В – Людям обычно можно доверять

С – С большинством людей в отношениях следует быть осторожными

D – Почти всегда в отношениях с людьми надо быть осмотрительным, людям нельзя полностью доверять

2007	A +	C +	«доверять» / «не доверять»	2008	A +	C +	«доверять» / «не доверять»
	B	D			B	D	
В среднем по 24 странам	42	58	0.73	В среднем по 29 странам	45	52	0.86
Норвегия	81	19	4.26	Дания	79	20	3.95
Швеция	74	26	2.84	Швеция	69	30	2.3
Новая Зеландия	69	31	2.22	Австрия	59	38	1.55
Швейцария	68	32	2.12	Финляндия	59	39	1.5
Финляндия	67	33	2.03	Австралия	55	44	1.25
Австралия	64	36	1.77	Сев. Ирландия	50	47	1.06
Япония	61	39	1.56	Великобритания	48	50	0.96
Фландрия	48	52	0.92	Чехия	45	54	0.83
Чехия	48	52	0.92	Германия	43	57	0.75
Южная Корея	46	54	0.85	США	42	57	0.74
Израиль	43	57	0.75	Венгрия	41	58	0.71
Словения	39	61	0.63	Тайвань	39	58	0.67
Тайвань	39	61	0.63	Израиль (евреи)	34	65	0.52
Франция	39	61	0.63	Франция	31	66	0.47
Латвия	34	66	0.51	Словакия	29	70	0.41
Польша	30	70	0.42	<b>Россия</b>	<b>27</b>	<b>68</b>	<b>0.40</b>
Уругвай	29	71	0.40	Польша	27	72	0.38
Россия	28	72	0.38	Латвия	24	72	0.33
Доминиканская республика	27	73	0.36	Уругвай	23	77	0.30
Мексика	26	74	0.35	Италия	22	78	0.28
Хорватия	19	81	0.23	Доминиканская республика	20	80	0.25
Филиппины	17	83	0.20	Израиль (арабы)	18	80	0.23
Чили	13	87	0.14	Кипр	17	81	0.21
				Чили	16	83	0.19
				Хорватия	15	84	0.18

2007, 2008, ISSP, в % к числу опрошенных; в России N=1000 (приведены не все страны)

<sup>1</sup> Международный проект ISSP «Доверие», реализованный по общей программе и согласованной анкете в 2007 году консорциумом исследователей из 24 стран. В России опрос был проведен Аналитическим центром Юрия Левады (руководитель проекта – Л.А. Хахулина) по общероссийской репрезентативной выборке (N=1000). Годом позже, в рамках следующего проекта ISSP - «Религия», этот же вопрос был повторен. Полученные результаты подтвердили вывод об устойчивости подобных установок и их распределения в странах с аналогичным типом культуры. Последний раз этот вопрос задавался в регулярном опросе Левада-центра (июнь 2012, N=1600) и показал точно такое же распределение мнений: 28/70 (=0.40).

аппарат находится под постоянным контролем СМИ и парламента. Основа этой организации общества – общественный идеализм (разделяемые большинством граждан представления об «общем благе») и более или менее устойчивый общественный консенсус относительно целей и средств социальной политики государства<sup>1</sup>. Это накопленное, институционализированное доверие к неопределенно многим другим, партнерам или участникам социальных взаимодействий является важнейшим показателем социального капитала данного общества, его способности к самоорганизации (без использования инструментов sporadического насилия или, напротив, организованных репрессий и систематического принуждения для достижения коллективных целей). Как раз из сопоставления подобных данных видно, что доверие – не «спонтанно» возникающий эффект актуального взаимодействия, как обычно его трактуют в социально-экономических исследованиях, что «доверию» обучаются, что оно входит в качестве составной части в общую систему социализации в данном обществе. Это значит, что человек в традиционном обществе или в группах с соответствующим типом культуры доверяет только тем, кому предписывает доверять традиция или обычай и в соответствии с предписаниями этой традиции, в то время как человек в современном обществе доверяет другим в соответствии с обобщенными правилами взаимодействия, которые заданы доминантными в этом обществе институтами<sup>2</sup>.

Как утверждает Кеннет Ньютон, в тех странах, где выше уровень взаимного доверия, люди живут здоровее, дольше, счастливее и более успешно. Такие общества являются экономически более продвинутыми, в них меньше коррупции и больше демократии и оптимизма. Здесь меньше совершается уголовных преступлений и лучше результаты школьного обучения. Доверяющие в большей степени включены в общественную и публичную жизнь, чаще вступают

в солидарные отношения помощи ближнему, чаще участвуют в акциях благотворительности и более удовлетворены своей жизнью<sup>3</sup>. Именно эти обстоятельства позволяют считать доверие эквивалентом социального капитала. Доверие закреплено в образах жизни, в системе aspirations (а значит – в структуре социального времени, в представлениях о собственных возможностях индивида и в способностях к рационализации своей жизни, планированию на длительный срок). Такое понимание доверия как проявления социальности идет от работ А.де Токвиля, который рассматривал «общество» как союз добровольных ассоциаций, построенных на взаиморасположении людей и вере друг другу, совместных интересах и тесном взаимодействии<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Newton K. Taking a bet with ourselves. Can we put trust in trust? // WZB Mitteilungen, 2012, März, № 135, S.6-9.

<sup>4</sup> В русском словоупотреблении это значение понятия «общество» (= совокупность отношений, основанных главным образом на солидарности или взаимных интересах) за время советской власти практически стерлось, слившись, с одной стороны, с понятием «население», а с другой – с государством (образовав специфический язык официоза). Идеологическая игра властей и оппонировавших им (иногда) экспертов на разнице этих значений убило исходную семантику самоорганизации и выражения воли людей, противостояния государству как суверенному или автократическому господству. Искусственно воссоздать прежнюю семантику «общества» (не совокупности поданных, а системы отношений, в которых нет господства и подчинения) достаточно трудно, поскольку этого нет в повседневном опыте абсолютного большинства людей. Российское общество не может отделиться от государства, от машины принуждения, монополизировавшей средства насилия. Общество в России, исторически формируясь внутри господствующего сословия, крайне медленно эмансипируется от власти (от господства, в повседневности являющегося бюрократической машиной массового управления), в свою очередь, почти неотделимой от частных интересов правящей группировки. И такое положение вещей сохраняется вне зависимости от идеологии, способов прихода к власти или характера легитимации власти. Технология господства в настоящее время сведена к устранению каких-либо возможностей контроля или давления общества на приватизированную власть кланов и группировок, узурпировавших средства насилия и административного управления, а также ресурсы и каналы социальной мобильности. В таком «обществе» нет и не может быть социального доверия людей ни друг к другу, ни к власти, которое мы наблюдаем в демократических и правовых странах или странах с традиционным социальным укладом. Индикатором автономности общества от государства может служить отношение к «налогам»: либо индивид сам платит их, сознавая это как более или менее вынужденный, но необходимый и добровольный акт солидарности, либо это происходит автоматически, как вычеты из зарплаты и других доходов, производимые помимо воли самого индивида. В последнем случае это экспроприация (публично не обсуждаемая) доходов населения бесконтрольной властью в свою пользу, своего рода «дань» населения государству, поскольку никакого контроля или даже знания о том, как в дальнейшем распределяются собранные средства, население не имеет. Политико-правовой принцип «No taxation without presentation» в России неизвестен. Соответственно, по-разному в разных социальных средах воспринимается и оценивается степень социальной дифференциации, величина разрыва между бедными и богатыми. В России сильнейший

<sup>1</sup> Появление Японии в этом ряду не кажется чужеродным, поскольку известно, что отношения между централизованным государством и индивидом в Японии опосредованы многообразными промежуточными институциональными структурами. Эти образования могут быть традиционного рода или принадлежать к современному *civil society*, но во всех случаях – это самоорганизующиеся и самоуправляемые организации, определяющие нормы и правила социального поведения, а стало, быть, задающие предвидимый, предсказуемый и надежный порядок взаимодействия.

<sup>2</sup> Ср. психологические трудности у людей старшего поколения при освоении новых форм генерализованного взаимодействия, предлагаемых как бы лишь «техническими» посредниками: пластиковыми карточками, автоответчиком или ранее – сложной бытовой техникой – посудомоечной машиной, компьютером, интернетом и т.п.

Страны с низким уровнем социального капитала (узким радиусом социального доверия), напротив, отличаются высоким уровнем внутреннего насилия. Преимущественно это страны, находящиеся в процессе незавершенной модернизации, с сильнейшей гетерогенностью институциональной системы, сочетанием современных, но слабых формальных институтов и сильных традиционных или консервативных форм организации жизни. Как правило, такие общества характеризуются наличием политических систем, которые блокируют процессы модернизации (либо консервативные авторитарные режимы), или эти страны имеют в недавнем прошлом опыт существования в условиях тоталитарных режимов, опыт гражданских войн или длительных (иногда — хронических) межэтнических, межконфессиональных или социальных конфликтов. Другими словами, это страны с высоким уровнем аномии и социальной дезорганизации.

В России низкое межличностное доверие («большинству людей доверять нельзя, к ним следует относиться с осторожностью») коррелирует с низким уровнем признания индивидуальной ответственности, гражданской солидарности, недоверием к политике или общественной деятельности, отчуждением, дистанцированием от политики, негативным отношением к правительству и местной власти, депутатскому корпусу, сознанием собственной невозможности влиять на принятие решений властями разного уровня, а также неготовностью участвовать в общественных делах или в акциях, выходящих за рамки проблем повседневной жизни или партикуляристских связей (семья, родственники, друзья, коллеги, соседи).

В то же время ценность межличностного неформального доверия котируется настолько высоко, что «доверие» уже в качестве собственно этнической характеристики входит в набор признаков или элементов этнонациональной самоидентификации «русских» («мы — простые, открытые, верные, надежные, готовые прийти на помощь, терпеливые, миролюбивые» и т.п.<sup>1</sup>). Подчеркну, что в этом последнем случае «доверие» относится преимущественно к низовому

---

перепад между крайними доходными группами расценивается как несправедливый, а само богатство и благосостояние вызывает подозрение в криминальности своего происхождения и стойкое недоверие, поскольку в обществе нет средств публичного контроля за источниками его приобретения. На этом в первую очередь работает зависть и рессантимент бедных, становясь одним из факторов общего недоверия в обществе и сознания несправедливости социального порядка.

<sup>1</sup> Гудков Л. Комплекс «жертвы». Особенности восприятия россиянами себя как этнонациональной общности. // Мониторинг общественного мнения, 1999, № 3, с. 46-64.

уровню институционального взаимодействия (партикуляристскому взаимодействию «своих со своими»), противопоставляемому любым вертикальным отношениям (как отношениям «мы/они», взаимодействие «своих» с «ними», с «чужими») или отношениям универсалистского плана, предполагающего ориентацию актора на обезличенные нормы формальных, прежде всего — правовых, институтов.

Распределение разных видов доверия в социальных средах может служить индикатором не только солидарности в обществе, но и процессов социального изменения. Анализируя данные уже упомянутого исследования ISSP-2007, можно отметить повышение показателей доверия в противоположных по образу жизни социальных средах — в мегаполисах и в селе (табл. 3). В крупных городах уровень межличностного доверия несколько выше, чем в средних и малых, остающихся резервацией советского социализма. В крупных городах сильнее ощущается запрос на трансформацию нынешней институциональной системы в сторону ее соответствия западным стандартам универсалистского и правового типа (о чем, в частности, свидетельствуют протесты оппозиции), но формирование подобных структур явно затягивается из-за сопротивления коррумпированной власти. Если судить по показателям доверия, то мегаполисы стоят ближе к развитым странам (см. табл. 3), а средние города — к странам третьего мира. Социальный капитал, возникающий в мегаполисах, принципиально иного рода, чем доверие давно знакомым, понятным и предсказуемым окружающим людям в традиционалистской и деградирующей деревенской среде. Самое низкое доверие фиксируется в средних городах, являющихся основой «индустриальной России» (советского варианта модернизации), настроенной весьма консервативно, ориентирующейся на советскую модель планово-распределительной государственной экономики и соответствующие этим образцам отношения власти и поданных, поданных между собой.

В таком контексте экономизированная трактовка доверия как рационального расчета и «редукции рисков» не имеет смысла, поскольку модель экономически рационального поведения работает здесь очень слабо (даже в мегаполисах этот тип поведения не является преобладающим и должен сочетаться с массой ограничивающих его условий), нет общезначимых образцов до-стижательского поведения<sup>2</sup>, признание которых

<sup>2</sup> Ср.: Бондаренко Н., Красильникова М., Юдаева К. Инновационный и предпринимательский потенциал общества // Вестник общественного мнения, 2012, №1, с.75-99.

Таблица 3

**МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ ЛЮДЯМ ИЛИ В ОТНОШЕНИЯХ С НИМИ НАДО ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ?**

	Людам (почти всегда + обычно) можно доверять	Людам не следует доверять, в отношениях с другими людьми почти всегда надо проявлять осторожность	Соотношение доверяющих/ недоверяющих
Большой город (более 1 млн. жителей)	38	52	0.73
Средний город (от 0.5 млн. до 1 млн. жителей)	20	80	0.25
Небольшой город (от 20 тыс. до 0.5 млн. жителей)	24	76	0.32
ПГТ, село	28	72	0.39

ISSP, 2007, Россия, N=1000, в % к числу опрошенных

является принятым, понятным и закономерным фактом в западной науке. Более продуктивными были бы здесь модели «человека советского» (с присущими ему свойствами двоемыслия, лукавности, демонстративной лояльности, пассивной адаптации) или традиционалистского, ксенофобского, настороженно относящегося ко всему новому и незнакомому.

**3. Феномен «доверие» в социологической перспективе.** Проблематика «доверия» в последние десятилетия снова стала привлекать внимание социальных исследователей после долгого отсутствия к ней интереса. Как раз в период формирования социологии как дисциплины (1900-1920-е годы) «доверие», наряду с другими социальными формами взаимодействия (борьба, господство, обмен, традиция, социальная дифференциация, рессантимент, мода, кокетство и т.п.) было одной из важнейших социальных категорий, используемой при интерпретации социальных структур<sup>1</sup>. Нынешний интерес к теме связан не столько с запросом на более точное понимание природы этого явления, сколько с потребностями причинной интерпретации взаимосвязи или взаимообусловленности особенностей доверия и институциональных структур в разных странах, включая сюда экономику, политику и т.п. сферы. (Доверие здесь стоит в общем ряду других, трудно формализуемых феноменов социальных отношений, таких как родительская любовь, вражда, солидарность и прочее, что в социальных науках скорее проходило по департаменту

исследований культуры, то есть предполагало использование идеографических, а не номотетических методов.) В случае успеха подобных попыток интерпретаций появлялась надежда на разработку новых средств понимания и учета влияния культуры (или культур) на характер эволюции политических и экономических отношений в разных странах, что имело бы уже не только теоретический интерес.

За два десятилетия подобной работы получен значительный материал, показывающий роль доверия в практике социально-экономических отношений, проведены широкомасштабные сравнительные исследования уровня доверия в разных институциональных контекстах и предложены некоторые рационалистические теории доверия<sup>2</sup>.

Вместе с тем, использование понятия доверия в сравнительно-типологических исследованиях в разных странах наталкивается на ряд ограничений, связанных с тем, что «доверие» рассматривается преимущественно как психологическое явление, как целостный и однозначный феномен (*Gestalt*), как аффект, «иррациональный» по своей сути. Попытки, предпринимаемые экономистами или социологами для того, чтобы выйти из этой старой методологической ловушки в социальных науках, нельзя признать особенно удачными. Стремясь формализовать понятие доверия и уйти от психологизма, аналитики в таких случаях обычно впадают в другую крайность: интерпретируя доверие по модели инструментального действия (рационального, а потому легче всего понимае-

<sup>1</sup> Сама по себе тема доверия, конечно, гораздо старше: она образует сквозной мотив в сочинениях многих политических философов, начиная, по крайней мере, с Т. Гоббса или Дж. Локка. Предметом их анализа были условия, при которых можно было ожидать возникновения справедливого социально-политического порядка в государстве, основанного на доверии поданных к правителю, соответственно, на моральных отношениях власти и подчинения, принципах всеобщего блага.

<sup>2</sup> Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York. Free Press 1995. (Русский пер.: Фукуяма Ф. Социальные добродетели и путь к процветанию. – М.: АСТ, 2006); Sztompka P. Trust: A sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press 1999; Noteboom B. Trust: forms, foundations, functions, failures and figures. – Cheltenham: Edward Elgar, 2002; Luhman N. Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart: Enke. 1968; Хоскинг Дж. Почему нам нужна история доверия // Вестник Европы, 2002, №7-8.

мого), они «экономизируют» подобные отношения, что, на мой взгляд, не просто упрощает, но искажает характер реальных взаимодействий людей, привнося чужеродный исследовательский телеологизм в смысловую структуру действия доверия. Функция доверия в подобных схемах интерпретации сводится лишь к оптимизации издержек выбора, к снижению рисков и возможных потерь, к «редукции сложности», к установлению определенных моральных рамок («добродетелей») или культурных предписаний для целерациональной структуры социального действия, якобы снимающих неопределенность ситуации для действующего (П. Штомпка, Н. Луман, Ф. Фукуяма, теория «рационального выбора» и другие подходы).

Несмотря на потери, неизбежные при такой сильнейшей генерализации элементов объяснительной процедуры, несомненным выигрышем при этом оказывается возможность использовать схему причинного объяснения. Но опасность утраты своеобразия (или неопределенности) самого феномена «доверия» остается, она заключается в неконтролируемой подмене смысла действия (ценностной рациональности, обычая или традиции как обеспечения ожиданий партнеров) хорошо отлаженной схемой целерационального действия.

Не умаляя эвристической ценности названных подходов, я предпочел бы интерпретировать доверие как сложный социальный феномен (как закрытое социальное взаимодействие), структура которого представляет собой соединение разных смысловых оснований. Когда мы говорим, что «доверяем» врачу, учителю, профессору в университете, кассиру в магазине, информации о расписании рейсов в аэропорту или на железнодорожном вокзале, другу или коллеге по работе, жене/мужу, членам семьи, банкам, иностранной валюте, вообще — деньгам, науке, метеопрогнозам, политикам, газетам, интернету и т.п., мы редко сознаем, что в каждом подобном случае наше «доверие» будет опираться на разные смысловые основания и, соответственно, определяться разными нормами ожидания и характера исполнения действия. Ничего «психологически простого» и «очевидного» здесь нет. Супружеская верность (взаимное доверие супругов друг другу, имеющее среди прочего символический характер парной солидарности) принципиально отличается от веры врачу, к которому вы обратились, или фармацевту, которому вы предъявляете рецепт на выписанное вам лекарство, а доверие банку — от доверия школьника учителю или

старшему брату. Но во всех этих случаях имеет место пред-понимание ситуации (ее определение и схематизация действия), то есть актуализация горизонтов действия и возможных способов поведения — своего и партнера.

В доверии нет ничего от слепого шага навстречу неизвестности. Доверие это способность актора схватывать выражение имплицитных кодов и правил поведения одних институтов или социальных групп в зонах действия других институциональных или групповых правил, это восприятие действующим «шифром» не называемых, но предполагаемых, подразумеваемых в конкретной ситуации взаимодействия норм институционального действия, которыми будет руководствоваться партнер, поскольку предполагается, что он должен, обязан это делать. В семантике, смысловой структуре рассматриваемого или описываемого исследователем действия (целевого или ценностного) эти нормы принципиально не могут быть артикулируемы, содержательно представлены в категориях мотива, цели или средств данного действия. Их семиотическое «присутствие» или значимость в ситуации взаимодействия обозначено признаками разной модальности поведения акторов (возможности, вероятности, долженствования), а выражено лишь как «психологическое качество» поведения, как известного рода «иррациональность» установки и действия, поскольку то, что вызывает «доверие», лежит вне логики маркированной структуры целевого поведения. Таким образом, речь не идет о «неполном знании» обстоятельств или мотивов поведения партнера, условий взаимодействия, последствий поведения и т.п., риски которого, как часто подчеркивают сторонники «экономизации доверия», феномен «доверия» может компенсировать так или иначе<sup>1</sup>.

Доверие как тип социальной регуляции (правил взаимодействия) обеспечивает взаимосвязь принципиально разных институциональных систем, согласованность между разными институтами или группами, разными по глубине слоями культуры. «Доверие» определяет границы индивидуальной или институциональной рациональности, раскрывая ее смысл, и соединяет между собой ту и другую, позволяя

<sup>1</sup> Следует подчеркнуть, что ни в каком случае, даже в самых рационализированных отношениях, например, экономических или научных, знание мотивов партнера или последствий взаимодействия с ним не может быть принципиально полным. В этом плане имеет смысл рассматривать «доверие» по аналогии с метафорой, синтезирующей разные смысловые планы в одно семантическое образование, рассматривать его как шарнир, соединяющий регуляторы действия разного уровня, включающий одни системы социальных отношений (институтов, групп) в управление другими социальными императивами или нормами.

учитывать последствия взаимодействия актора с институтом, группой или иными индивидами. «Доверие» продуцирует смысл будущего, как бы проектируемого взаимодействия партнеров или действующего с различными и неопределенно многими акторами, включая взаимодействие индивида с институциональными порядками или его представителями, как это имеет место, например, в актах использования денег: обмен символическими средствами выражения ценности здесь производится с расчетом на то, что их примут в адекватное обращение неопределенно многие третьи лица.

Исходя из сказанного, я определил бы «**дове- рие**» как **социальное взаимодействие, ориентированное на высокую вероятность (шансы) того, что действия партнеров** (а ими могут быть не только отдельные индивиды, но и социальные группы или институты) **будут протекать в соответствии с ожидаемым субъектом действия порядком, основанным на взаимных моральных или ценностных обязательствах, принуждении, обычаях, традициях, социальных конвенциях, идейных убеждениях, материальных интересах, общепринятых или вменяемых всем членам сообщества антропологических представлениях.** Эта уверенность (confidence, Sicherheit) должна быть проявлена (манифестирована) действующими не только в различного рода заявлениях, но и в совместных церемониалах (ритуалах, праздниках, выборах, референдумах, митингах, масскоммуникативных и групповых акциях), а также обозначена особым языком или семиотикой поведения, а значит – подтверждена и гарантирована различными **санкциями** за нарушение ожиданий или несоблюдение общепринятых обязательств, имеющих нормативный или правовой характер. Ценностные обязательства (включая коммуникативную этику) могут включать согласие по поводу общих правил действия в той или иной сфере коллективной жизни – поиска научной истины, честного соревнования в спорте или поведения на дуэли, в бизнесе, в любви, в воспитании детей, в работе, в моральном облике священников и т.п. Обязательства предполагают высокую вероятность наступления ответственности за нарушение этих правил, причем не только со стороны пострадавших от нарушения, но и всего социального окружения, поставленного в известность об этом деликте. Коллективный характер обеспечения доверия означает, что доверие, вне зависимости от его конкретных смысловых оснований, входит в состав общего набора институциональных и групповых норм поведения, социального по-

рядка, общих представлений, образов жизни, опыта прошлого, горизонтов притязаний группы (ее интересов) или aspirations отдельного индивида, границ возможного отклонения от нормы и т.п., совокупность которых и образует то, что стало с недавних пор именоваться накопленным и передаваемым от поколения к поколению «социальным капиталом» того или иного сообщества<sup>1</sup>.

Внутренние границы доверия очерчены (вероятностью) неисполнения взаимных обязательств. Нарушение обязательств может оправдываться субъектом действия (неисполнения) определенными условиями, прекращающими действие общих обязательств и правил, либо связываться с высшими обстоятельствами (ценностным конфликтом, наличием других ценностных порядков). Но в любом случае вероятность нарушения доверительных отношений принимается во внимание действующим и задает предел доверия. Сама по себе эта граница становится очень важным символическим барьером, тематизация которого продуцирует в культуре множество сюжетов в литературе и искусстве, игровых ситуаций, экспериментов и т.п. Таковы темы «лицемерия», «предательства», обмана, соблазна, лукавства, паразитирования на доверии, несостоятельности того, кому доверяют, безответственности, а также выгод, которые приносит нарушение правил доверительного взаимодействия, образующее определенный оперативный и всегда ситуативный ресурс для нарушающего, его преимущество перед всеми соблюдающими эти правила<sup>2</sup>. **Граница доверия**, обозначенная соответствующим ритуальным жестом или процедурой, указывает на (предположительное) переключение одной модальной системы доверия на какую-

<sup>1</sup> В самом понятии «социальный капитал», введенном экономистами, нет ничего нового по сравнению с обычными понятиями культуры и ее институционализации, но оно позволяет оперировать с доверием по аналогии с другими видами капитала. Социальный капитал (=межличностное доверие) в социально-экономических работах представляет собой новейший функциональный инвариант понятия «культура» или «цивилизация», суженного настолько, что оно становится доступным для операционализации и измерения.

<sup>2</sup> О подобном ресурсе блатных в лагере много писал В.Шаламов в «Колымских рассказах», распространяя эту этику блатных на всю советскую «общую зону». Но, конечно, тема обмана доверия – образец игровой социальной тематизации отношений во многих культурных ситуациях, бесконечно заимствуемый и варьируемый в зависимости от «вводных» характеристик. См. например, комедию П. Мариво «Les fausses confidences» («Ложные признания», 1737), переведенную в России еще П. Катениным как «Обман в пользу любви» (1827), или роман Г. Мелвилла «The Confidence Man: His Masquerade» («Искуситель: его маскарад», 1857).

то другую, определяемую другими правилами взаимодействия с партнером или партнерами. Чем сложнее устроено общество, тем многообразнее сами границы доверия и тем большее значение приобретает способность человека их различать и переходить от одной зоны доверительных отношений к другой, не вызывая возмущения партнеров (социальный такт действующего).

Упомянутые выше ритуалы, подчеркивая символический характер доверия, сами по себе еще ничего не говорят о степени значимости доверия или длительности его действия. Соответственно, исходной задачей эмпирического изучения феноменов доверия или зон его распространения оказывается фиксация и описание различных *барьеров* между модальными сферами доверия, семантических или социальных границ доверия, отделяющих пространства недоверия, а также указывающих силу или значимость, интенсивность доверия. Оказываясь вне этих зон доверия, индивид немедленно включает нормы недоверия как операциональные коды поведения в агрессивных или социально опасных средах существования<sup>1</sup>. Барьеры – это фиксированные ритуалы недоверия (бдительности, проверки, сомнения), отмечающие рост социальной и антропологической неопределенности в ситуациях перехода от одной зоны доверия к другой. Степень артикуляции этих барьеров зависит от характера институционализации социального доверия в разных обществах. Подробный разбор различных видов барьеров выходит за рамки нашей темы, поэтому я вынужден лишь кратко указать на природу этих границ.

<sup>1</sup> Вопрос, является ли недоверие социологической сущностью особого рода (независимым от доверия социальным феноменом) или это негативное выражение доверия (его отсутствие), остается открытым, требует дальнейшего обсуждения и проработки. Многие исследователи рассматривают недоверие как самостоятельное явление – см., например: *Оболонский А.* Политическое недоверие как позитивный фактор // Вестник Института Кеннана в России, 2012, вып.21, с.7-18. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прояснить несколько обстоятельств взаимодействия такого рода: а) можно ли говорить о правовой регуляции «недоверия» (не обязательно о формально правовой, можно иметь в виду и действие норм обычного, некодифицированного права); б) включены ли нормы «недоверия» в процедуры и механизмы первичной социализации в группе, учат ли недоверию как отдельной социальной способности; в) воспроизводятся ли эти нормы недоверия от поколения к поколению без существенных изменений; д) есть ли специальные инстанции или системы контроля, санкций, поощрений и проч., которые позволяют следить за воспроизводством «недоверия», наказывая доверчивых и поощряя недоверчивых. Ответы на эти вопросы не могут быть получены догматически, исходя из тех или иных этических или антропологических постулатов, это предмет эмпирического изучения.

Для исследователя чрезвычайно важно видеть «границы» между зонами «доверия»/«недоверия». Без указания на подобные подразумеваемые, внутренние или внешние, барьеры, играющие роль смысловых рамок для правил взаимодействия, переключателей регистров солидарности, разделяющих нормы разных планов социальных отношений, взаимного контроля, согласования интересов и т.п., невозможно понимание сложности или неоднородности социальной материи, из которой состоит повседневность существования. Тем более это важно для анализа поведения в репрессивных обществах, в которых обыденность пронизана официальной ложью и лицемерием, как это имело место в советском или имеет место в постсоветском обществе, равно как и в других репрессивных и закрытых социумах (в мусульманских общинах, в современном Китае и т.п.). А нас в первую очередь интересуют именно эти аспекты поведения в ситуациях сочетания разнородных нормативных систем и препятствий для их универсализации, подавления условий возникновения универсальной этики и права. Сама по себе двойственность этики или двоемыслие – явление, характерное для любых типов современных обществ. Но удельный вес и значение двоемыслия может радикально различаться в разных социальных системах.

Формализация доверия предполагает не только появление разного рода документов, паспортов, сертификатов, пропусков, удостоверений и т.п., указывающих на кодификацию правил различения своих и чужих, норм институционального поведения (включая и санкции за нарушение), но и появление различного рода специализированных служб контроля, постов проверки. Наиболее институционализированными формами барьеров доверия (априорного недоверия) являются меры безопасности и охраны, различающиеся по своей жесткости и общности (ФСО, ФСБ, пограничная служба, службы безопасности в аэропортах и школах, первые отделы, блокпосты на въезде в город или шлагбаумы и рогатки на определенных территориях и проч.). Охрана государственных, ведомственных, элитарных тайн и секретов, обеспечивающих зоны гарантированного доверия (со всеми процедурами проверки, допусков, подписок о неразглашении, иерархии допусков, создания специальных служб безопасности, секьюрити и поставок соответствующего технического оборудования – от вертушки и ВЧС до служебной переписки с различными грифами секретности и прочее) представляет собой

один из примеров границ доверия<sup>1</sup>. Другими примерами могут служить меры по защите от подделок (денег, финансовых или наследственных документов) и соответствующие службы разного уровня. Чем менее формализованным является контроль и проверки, ограничения на входе в систему взаимодействия, тем с большей уверенностью мы можем говорить о значимости традиционных или конвенциональных отношений в группах или сообществах, требующих собственных ритуалов солидарности и выражения доверия. В деревне нет нужды в предъявлении документов соседям, как это делается ежедневно при входе в здание большой организации или предприятия.

В советское время в атмосфере тотального привычного страха и коллективного заложничества контроль охватывал как сферу публичного пространства (работа, общественные занятия — принудительные отработки «в колхозе», на «овощебазах», уборка территорий; служба в армии, учеба, развлечения, идеологическая дрессура — общие собрания сотрудников, жильцов, учащихся; политзанятия, проработки, возможности предоставления разных привилегий, меры «исключения» в виде разного рода поощрений), так и частной жизни (жилье, мораль, семейные или неформальные отношения). Поддержанию доверия способствовала норма деления на «своих» и «других». Под «своими», «своим кругом», «нашими» и т.п. понимались не просто люди, которым можно было доверять (в смысле общей веры в то, что в случае нужды тебе могут помочь, поддержать эмоционально, финансово или физически — взаимные обязательства группы, опирающейся на крайне важные ресурсы сетевых связей и отношений: образование, медицина, квартира, работа, освобождение от армии или от преследований), но и тех, на кого распространялись проекции норм «порядочности», взаимной лояльности, уверенности в том, что эти люди тебя «не сдадут, не предадут, не донесут начальству» или властям о чем-либо неподобающем поведении. К «чужим» относились все те зоны существования, где были незначимыми представления или нормы солидарной ответственности или на них нельзя было непосредственно рассчитывать. И «свои», и «чужие» были весьма условными кате-

<sup>1</sup> На лондонской конференции по доверию в СССР, упомянутой в начале статьи, А. Леденева сделала специальный и очень содержательный доклад об истории советской телефонной спецсвязи, раскрыв диалектику борьбы за ограничение числа ее пользователей (самоизоляцию власти) и за допуск к вертушке как символическому средству власти (апроприация власти).

гориями, часто переменными, когда свои превращались в чужих, и наоборот.

Подобная структура «двоемыслия» (в терминах Ю.А. Левады — «игры», «игровых структур социального взаимодействия») задавала определение ситуации и диктовала различные коды социального поведения в разных средах, соединяя формальные и неформальные правила взаимодействия через многообразные способы преодоления внутренних и внешних барьеров. При этом включались нормы поведения, относящиеся к разным системам социального контроля и опознания «своих»-«чужих». Церемониалами снятия барьеров между статусами были обязательная совместная выпивка в неформальной обстановке (на работе, дома или в среде, которая отключала внешние механизмы повиновения — на природе, в туристической поездке, в поезде, после работы на рабочем месте, во внеслужебное время, в командировке, в бане и т.п.) или апелляция к другим «своим» (родственникам, прежним сослуживцам, коллегам, приятелям и т.п.), которая принимала форму «помощи», «услуги» (блата, связей, «нужных людей»). Важен был и соответствующий семантический код — использование языка «своих», псевдо партикуляристских отношений — доверительных отношений «близких людей» («...я от Ивана Ивановича»), хотя сам действующий при этом чаще всего мог и не знать лично ни самого «Иван Ивановича», ни даже того, кто он такой<sup>2</sup>. Язык подобных отношений, предполагал процедуры демонстративного *исключения* официальных или общепринятых форм взаимодействия, установления «особого», «специального» режима поведения: «разрешить в порядке исключения», как тогда писалось в служебных записках начальству с какими-либо просьбами, обращениями. По существу, это означало отмену требований морали, упразднение общих правил оценки себя и других, взаимообязывающих норм поведения.

Иерархия барьеров и разграничения зон доверия и взаимодействия воспроизводит социальную иерархию и отражает степень жесткости (закрытость или открытость) социальной структуры<sup>3</sup>. Семантика барьера доверия в любом

<sup>2</sup> Левада Ю., Левинсон А. «Похвальное слово» дефициту // Горизонт, 1988, №10.

<sup>3</sup> Самым очевидным проявлением этого могут служить обычные проезды путинского кортежа по Москве, парализующие городское движение. Это демонстративное поведение первого лица одновременно есть и выражение феодального торжества власти, и ее страха перед населением (принимающего здесь форму рационалистического оправдания необходимых мер безопасности президента). Российская пресса с некоторым злорадством сравнивала два высших государственных

случае строится на переворачивании смысла доверительных отношений, на маркировании злонамеренности или выражения презумпции недоверия. Границы доверительных отношений могут быть подчеркнуты пространственно-временными ограничениями, социальными фильтрами или характером допуска в коллектив или группу, церемониями перехода из одной системы норм (ценностей) в другую, сменой языка, одежды, интонаций, правил поведения в повседневности и прочим. «Игра в доверие» стала социальным кодом поведения, умением демонстрировать другому, что актер понимает, что его партнер лжет (в чем, когда и в каких отношениях), и что тот знает, что актер его понимает, благодаря чему достигается конвенциональное согласие и определение рамок возможного контроля насилия или коррекции взаимодействия. Важно, что отсчет при этом идет от негативных представлений или моделей человека, которые выступают как норма определения реальности.

Само по себе увеличение числа и многообразия видов барьеров указывает на рост внутренней агрессии, потребности в обмане, провоцируемых самим функционированием институтов социального недоверия и легального насилия (КГБ-ФСБ, МВД, генпрокуратура и т.п.). Эти структуры насилия, по мнению россиян, сегодня являются опорой действующего режима. Они не препятствуют росту насилия и не ограничивают его распространение, они его производят и стимулируют зону его расширения в обществе. Не требуется особых доказательств для того, чтобы увидеть внутреннюю связь увеличения масштабов внутреннего насилия и агрессии (включая аутоагрессию, чрезмерную смертность, внешние причины смертности и структуру преступности) и аномии общества. Недоверие — это сознательная и привычная установка на ожидаемое в повседневности нарушение социальных правил и ценностных обязательств, которое вызывает создание организованных групп, блокирующих опасности нарушения общего доверия (порядка). Гипертрофия служб безопасности в новейшей России — появление частных и вневедомственных армий охраны, общая численность которых приближается к миллиону человек (преимуще-

ственно мужчин), представляет собой не просто «бессмысленно» опредмеченное государственное или корпоративное недоверие, но и восстановление значимости старых институтов насилия или их новейшую «инкарнацию». Рост численности различных видов полиции сопровождается как общим ростом преступности (при снижении показателей раскрываемости), так и все более высоким уровнем страха перед полицейским насилием и произволом, отчужденностью людей от власти, усилением диффузной тревожности и недоверия между людьми.

Но это то, что касается формализованных барьеров. Более сложные и многообразные (в смысле визуальной и маркированной фиксации) барьеры и границы доверия образуются в зонах двоемыслия, сочетания формального и неформального, демонстративного и практического поведения, характерного для недомодернизированного постсоветского российского общества, в котором слабость универсального права и основанных на нем институтов компенсируется различными вариантами игры на модулях «своих» и чужих», установления дистанции и ее снятия в ходе различных ритуалов «проверки», образования коалиций и временных союзов внутри социальных групп или ассоциаций. Отсутствие открытых для всех социальных лифтов и каналов вертикальной мобильности оборачивается постоянной склокой внутри влиятельных или обладающих особыми ресурсами групп в обществе, регулярной рекомпозицией центров силы, поддержанием высокого уровня цинизма, недоверия, «бдительности», все более частыми коррупционными скандалами.

Как правило, эти барьеры не отмечены, не маркированы в языке или семантике того, чему или кому «доверяют», а потому они воспринимаются как само собой разумеющиеся сущности (собственно это и есть выражение отношений доверия, непроблематичности отношений). Барьеры могут быть обозначены сменой одежды, сменой речевых норм, в том числе — обращения (переход от «вы» к «ты», появлением экспрессивной или обценной лексики), отменой иерархических различий в статусах, подчеркиванием исключительности ситуации или особого (равного или интимного, сближающего) характера отношений между партнерами, выделения их из общего ряда, отменой обычных правил поведения, за которыми стоит смена систем референции, референтных групп, идеологии, исторических или логических аргументов, апеллятивных или риторических фигур и проч., короче, смена парадигм поведения, до того ни-

---

церемониала: стремительный проезд Путина в наглухо закрытом, затемненном бронированном мерседесе по абсолютно пустым улицам города («очищенным» от народа) на инаугурацию в Кремль 7 мая и близкое по времени медленное и торжественное следование британской королевы Виктории в старинной карете, сопровождаемой конными гвардейцами, по забитым праздничной толпой улицам Лондона во время бриллиантового юбилея ее царствования.

как не совмещавшихся друг с другом, жестко разделенных между собой.

Но мало указать на наличие этих барьеров доверия. Необходимо различать и разные планы доверия — от высшего уровня общих конструкций реальности (совокупности и композиции коллективных символов, задающих устойчивость определений действительности, этого важнейшего потенциала солидарности и согласия в обществе, хотя одновременно оказывающегося и наименее рационализуемым, не контролируемым в субъективном плане) до доверия, сохраняющегося исключительно в малых и неформальных группах. Умение оперировать различными модусами доверия есть признак социализированности индивида в обществе или группе, свидетельство его социальной дееспособности в данном сообществе, его общественного «такта».

Подобный режим двоемыслия (мозаичность сознания, партикуляризм, способность соединять кажущиеся несовместимыми нормы и представления) порождает человека достаточно эластичного, чтобы выносить внешнее давление и контроль («русское терпение»), и вместе с тем, неспособного к коллективной солидарности (недоверчивость, отказ от поддержки организаций гражданского общества) или систематической рационализации собственного действия, готового приспособиться к любым переменам в своем положении ценой снижения запросов и качества жизни (выбор «понижающих стратегий жизни»)<sup>1</sup>.

Поэтому любые попытки эмпирического анализа доверия как в прошлом, так и в настоящем должны учитывать силу различных нормативных систем лояльности и силу социального контроля как со стороны формальных институтов (власти, руководства предприятия, в советское время — партийных организаций или их дублеров в виде профсоюзов, комсомола и т.п.), так и со стороны неформальных или сетевых отношений, образующих множественные структуры частных коалиций и коллективного заложничества (семьи, трудового коллектива, квази-общественных организаций — спортивных, любительских, ветеранских, жилищных, соседских и т.п.). С ослаблением репрессий, а затем и сворачиванием масштабов массового террора проблема «доверия» «руководству» (завода, государственной организации), коллегам, товарищам, семье, *двоемыслия* и т.п. превраща-

ется в проблему *дефицита* правовых и формально институциональных средств регуляции<sup>2</sup>.

Теплые и доверительные отношения внутри многих неформальных коллективов, сложившихся в советское время, отношений, основанных на взаимной вере друг в друга, связаны с тем, что ценности и нормы поведения, разделяемые членами этих групп, были альтернативными по отношению к официальным, идеологическим, формальным требованиям власти, предъявляемым населению. Благодаря самой этой альтернативности закрытые сообщества могли быть не только условием выживания большей части населения страны, вынужденного приспособляться к репрессивному идеологическому государству, но и, при некоторых условиях, становиться хранителями и ретрансляторами традиций иной культуры (в том числе — религиозной или философской, научной мысли, более высоких стандартов морали). Поэтому повышенное уважение, которым наделялись все причастные к этим закрытым сообществам, к кругам символического и практического доверия, было обосновано признанием особых достоинств, которыми награждались члены этих коллективов. Как только стало возможным, именно на основе подобных отношений начинали складываться новые социальные формы, облегчавшие отношения партнеров по бизнесу, новые научные коллективы, инновационные фирмы и т.п. Но, стоило внешней среде после краха советской системы начать изменяться, как потребность в сохранении состояния закрытости и самоизоляции резко ослабела. А с ней началась эрозия атмосферы благожелательности, доверия в прямом психологическом смысле (то есть — доверия диффузного, нерационализованного, нерасчлененного). Нормы поведения в закрытых сообществах не выдерживали испытания, которым оказались подвергнуты в процессе начавшихся реформ, при переходе общества к формальной институционализации. Возник кризис социального доверия, постепенно охвативший общество и осознанный общественным мнением как «падение морали». То, что помогало сохранять дух доверия и взаимного уважения в малых коллективах и тесных компаниях, начинало стремительно ломаться и разрушаться в других условиях, более открытых и формальных, прагматически-инструментальных. Закрытая атмосфера малых групп, позволявшая сохранять многие универ-

<sup>1</sup> Левада Ю. Варианты адаптивного поведения // Он же. Ищем человека. М., Новое издательство, 2006, с. 202-212; он же. Фактор надежды // Там же, с. 224-232.

<sup>2</sup> Гудков Л., Дубин Б. Институциональные дефициты как проблема постсоветского общества // Мониторинг общественного мнения, 2003, №3, с.33-53.

салистские ценности (особенно это значимо было для функционирования неформальных научных семинаров, кружков, научных школ — бескорыстного познания, взаимной преданности, этики, религиозных исканий и т.п.), и даже их культивировать, с изменением ситуации парализовала потенциал дальнейшего развития и институционализации подобных отношений. Смена приоритетов в этих условиях оказалась разрушительной для доверия в бизнесе, науке, искусстве и т.п. фрагментированных средах, которые позволяли инакомыслящим или социальным маргиналам существовать в советское время. Доверие и равенство, которое позволяло выживать в прежнее время, в новую эпоху перехода стало фактором, блокирующим возможности дифференциации ролей, подавляло разнообразие, специализацию, разделение труда<sup>1</sup>.

И полное доверие, и полное недоверие являются крайними случаями характеристики социума. Обычно доверие распределено весьма неравномерно. Оно более высоко в обществах с устойчивой и открытой институциональной системой, с развитой системой самоуправления и равенством возможностей, в обществах благосостояния (welfare-state); оно ниже (или иное по характеру) в обществах с высоким уровнем насилия, внутренней агрессии, с авторитарным или тоталитарным типом государственного устройства<sup>2</sup>. Кроме того, базовое доверие к миру, характерное для начальных фаз социализации, прежде всего — в относительно благополучных социальных средах, в полных семьях, постепенно нейтрализуется негативным опытом насилия, обмана, наращиванием более сложных и неоднозначных по своему составу структур действия, включающих в себя непре-

<sup>1</sup> Исследования формирования нового предпринимательства в 1990-х годах указывали, что основными препятствиями развития бизнеса были не отсутствие свободного доступа к кредитам или к новым технологиям, даже не административный произвол и коррупция, а дефицит доверия к партнерам по бизнесу, соблюдение договоров, нечестность, необязательность при выполнении условий контрактов и проч. - Общественный договор. Социологическое исследование. М., 2001. Под ред. Д. Драгунского.- ВЦИОМ; Институт национального проекта «Общественный договор».

<sup>2</sup> Хоскинг Дж. Структуры доверия в последние десятилетия Советского Союза // Неприкосновенный запас. 2007. № 4. С. 59-69 (а также его лекция 5.06.2012 в МГУ: Хоскинг Дж. Структуры доверия в последние десятилетия Советского Союза // URL: [sbiblio.com/biblio/archive/hoking\\_sl/](http://sbiblio.com/biblio/archive/hoking_sl/); Hosking G. Trust: Money, Markets, and Society. L., 2011 (фрагмент этой работы под названием «Экономика доверия» был опубликован в «Неприкосновенном запасе», 2010, № 5); Гудков Л. Общество с ограниченной вменяемостью // Вестник общественного мнения, 2008, №1, с.8-32; Гудков Л. Цинизм «непереходного» общества // Там же, 2005, №2 (76), с.43-52; Гудков Л. Инерция пассивной адаптации // Pro et Contra, 2011, том 15, №1-2 (51), январь-апрель, с.20-42.

менный компонент социальных игр, имитации, социальной мимикрии, лжи, приспособления к окружающим, лицемерия и т.п. Подобный опыт недоверия в репрессивных обществах становится важнейшим стратегическим ресурсом социального выживания или условием социального успеха, вертикальной мобильности, и, будучи закрепленным в корпоративных нормах поведения, превращается в принципы и механизмы селекции людей во власть, определяющие своеобразную структуру господствующей элиты, как это имеет место в нынешней России (преобладание во власти чекистов, военных, то есть представителей самых архаических и консервативных институтов, социальных, партийных, идеологических ренегатов).

Проблема описания феноменов доверия заключается в том, чтобы определить и фиксировать смысловые основания доверия (признание значимости неартикулируемых, но подразумеваемых и потому полагаемых *субъективно*, ценностных значений и латентных — или формальных! — норм действия). Это значит, что анализ доверия требует учитывать не просто разные институциональные нормы взаимодействия, но и разные по своему происхождению и составу, культурному генезису пласты культуры, определяющие сами эти институты, нормы которых вводятся в социальную игру доверия.

«Психологизм» (эмоциональность, аффективность, соответственно, иррациональность состояния) трактовки доверия означает в подобных случаях то, что исследователь не в состоянии ясно прочесть (схватить) императивы поведения, которые для действующего кажутся очевидными, хотя часто ни он сам, ни тем более исследователь или интерпретатор (историк, социолог, экономист) не в состоянии идентифицировать их в качестве собственно групповых или институциональных требований. В лучшем случае — и почти всегда лишь в ходе специального анализа — они могут быть выявлены в качестве эвидентных, но не эксплицированных («закодированных», «зашифрованных») социальных норм и правил действия, тривиальность или рутинность которых препятствует их осознанию, рефлексии, или же сама ситуация не требует их дешифровки, указания на их групповую или институциональную принадлежность. В определенном смысле сама эта очевидность и есть выражение «доверия», она не требует или блокирует обязательства по экспликации и артикуляции подобных норм. Но в аналитически строгом смысле следует говорить о разных типах социального доверия.

Кроме того, дело осложняется тем, что в некоторых ситуациях, особенно в условиях репрессивных режимов, требование доверия может носить *принудительный* или игровой характер. Например, следователь КГБ мог заявить во время профилактической «беседы» своему «собеседнику»: «вы с нами неискренни, вы же советский человек, вы что, нам не доверяете?». Но подобное заявление представляет собой лишь крайнюю, утрированную форму общераспространенных внутригрупповых механизмов сплочения. Таким образом, мы сталкиваемся с весьма характерными явлениями, которые можно назвать «игрой в доверие», игрой в «открытость», «искренность» или «доброжелательность». Они образуют смысловые переходы между разными сферами институционального или группового насилия и принуждения. Вероятно, по своей структуре эти явления близки к тому, что можно назвать светским или религиозным «лицемерием», «ханжеством», «фарисейством» и т.п., однако в социальном, содержательном или генетическом плане их следует принципиально различать: источником принуждения в одном случае будут «общество», «свет», «общественное мнение», в другом — репрессивные органы политической полиции и идеологического принуждения.

Слабость правовых и универсалистских форм организации социальной жизни (к какой бы области жизни это не относилось: к политике, государственному управлению или экономике как сфере наибольшего «риска») компенсируется появлением «доверительных» сообществ, но уже на другом, чем в советском социуме, уровне организации общества — на уровне власти. Здесь воспроизводятся почти те же отношения, которыми характеризовалась репрессивная атмосфера советского времени: идет образование «кланов», неформальных союзов, возникающих из дружеских или коалиционных отношений внутри клубных, предпринимательских, мафиозных («капитализм для своих») или других интересов, перекрывающих «шунтирующих» зоны привычного социального недоверия<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ими могут быть и так называемые «питерские» (знакомые или сослуживцы В.Путина), ставшие ресурсом для кадровых назначений на ключевые должности в кремлевской администрации в первой половине 2000-х годов) или члены кооператива «Озеро», образующие самый «узкий круг» В.Путина и его «тайный кабинет», чекистские связи и т.п. Подобные союзы в дальнейшем укрепляются семейными связями — назначением детей влиятельных лиц на высокие позиции в ведущих государственных или контролируемых государством компаниях, банках, корпорациях. — Афанасьев М. Клиентизм и российская государственность. М., Московский общественный научный фонд, 1997. Российские

**4. Доверие как социальный капитал. Его типы.** Различные виды социального доверия, образующие институционализированный «социальный капитал», соотносятся с разными сетями общения и взаимодействия, с разными образами жизни (а значит — потребления). У их обладателей — разные горизонты ожиданий и оценки событий, разные модели политического поведения<sup>2</sup>. Р. Роуз, руководитель исследовательской программы «New Russia Barometer», для описания типов доверия в России еще в 2000 году выделял *до-модерные, модерные и анти-модерные* основания социального капитала<sup>3</sup>.

Условия, благоприятные для быстрого развития (усложнения социальной структуры и появления тех форм доверия, о которых писал К. Ньютон<sup>4</sup>), возникают только в зоне притяжения крупных городских агломераций — мегаполисов и крупнейших городов России с

---

политологи и политические журналисты стремятся отслеживать подобные связи и назначения детей и родственников высокопоставленных чиновников из близкого круга В.Путина (карьеры детей Н.Патрушева, С.Иванова, М.Фрадкова и др.), давление на суд, оказываемое ими, или освобождение их от уголовной ответственности за совершенные правонарушения. Этому были посвящены целые серии публикаций в «Новой газете», «Коммерсанте», периодических выпусках «Власть» (издательство «Панорама») и др. изданиях, а также на интернет-сайтах. Характерно, что в позднее советское время в среде советской элиты подобных форм не возникало, отношения в номенклатурной среде были очень формальными, ограниченными и пронизанными взаимным недоверием и подозрительностью Брежнева, обеспокоенного возможностями заговоров против него и т.п. — См.: Модсли Э., Уайт С. Советская элита от Ленина до Горбачева. Центральный комитет и его члены, 1917-1991 гг. М., РОССПЭН, 2011, с.365-369. Приватизация власти и собственности, начавшаяся после краха советской системы, но достигшая полноты лишь при путинском режиме, требовала в условиях слабой легитимности власти формирования особых, чрезвычайных, а значит - выведенных из-под контроля закона доверительных отношений «своих». Такие образования иногда считают разновидностью «crony capitalism», характерного для многих азиатских авторитарных и коррумпированных режимов, или даже - мафией, как иногда в российской прессе называют эту систему власти. Но подобные определения не могут считаться адекватными — по происхождению и функциям это другие формы организации власти. Кажущаяся архаической, подобная организация руководства страны представляет собой единственно возможную форму адаптации бесконтрольной власти к меняющимся условиям (при деградации и разложении прежней институциональной системы).

<sup>2</sup> Newton K., Zmerli S. Three forms of Trust and their Association // European Political Science Review, 2011, vol.3, № 2, p. 1-32; Political Trust: Why context matters. Ed. by S. Zmerli, M.Hooghe. Colchester: ECPR Press, 2011.

<sup>3</sup> Rose R. Uses of Social Capital in Russia: Modern, Pre-Modern, and Anti-Modern // Post-Soviet Affairs, 2000, 16(1), p.33-57. Его типология, как и типология Н.Зубаревич («Четыре России» // Ведомости, №248/3014/ от 30.12.2011), обладает значительной эвристической силой, учитывая, что почти две трети населения России живут в малых городах и сельских поселениях, где сохраняются традиционалистские образцы поведения и представления, не говоря уже о советских стереотипах и образах мысли.

<sup>4</sup> Newton K. Taking a bet with ourselves... P.7.

численностью проживающего в них населения около миллиона человек и выше. Только здесь в силу целого ряда факторов: концентрации населения, высокой специализации занятости, обуславливающей дифференциацию институтов и групповое многообразие, возникают не просто новые, но более сложные формы социальной регуляции, требующие в свою очередь новых посредников — рыночную экономику и более развитую, в сравнении с тоталитарным социумом или авторитарным режимом, коммуникативную инфраструктуру. Социальный, экономический, информационный и культурный плюрализм оказывается, таким образом, фактором «принуждения» к появлению новых отношений. Они отличаются анонимностью, безличностью, надстраиванием над личными и групповыми отношениями корпуса формальных (универсалистских) норм и императивов поведения — правовых, моральных, ценностных механизмов регуляции. Им соответствует и тип личности (который мы называем «современным или европейским человеком»): более свободной от непосредственного окружения и прямого социального контроля, более мобильной, ориентированной на обобщенные, «идеальные» образцы социального доверия, признания и гратификации. В отличие от родственно-семейной, соседской или этнообщинной взаимосвязанности, здесь действует избирательная солидарность, руководствующаяся императивами этики ответственности, а не предписаниями традиции или коллективного заложничества, характерного для советских «трудовых коллективов». Другими словами, на фоне доминантного для российского общества типа «советского человека», созданного из множества ограничений, а не стимулов действия, иерархического, лукавого, испытывающего разнообразие фобии (по отношению к новому, чужому, сложному), сознающего себя заложником коллектива, а потому пассивного и терпеливого, постепенно в российских мегаполисах выделяется новый тип индивида, не столь зависимого от власти. В своем сознании этот человек обязан собственным благополучием только себе, своей более высокой профессиональной квалификации и образованию, интенсивной работе, а не «отечески заботливому» государству. Поэтому он оказывается менее фрустрированным и более свободным от прежних идеологических комплексов. Он не испытывает по отношению к российской власти ни прежней лояльности, ни благодарности. Его социальный капитал основан на сложной си-

стеме генерализованных социальных правил и отношений, построенных на знании и доверии к другим, то есть качествах, составляющих каркас современного западного общества.

Эта новая институциональная среда, возникающая в мегаполисах, опосредованно связана с гораздо более высоким уровнем жизни. Его повышение определено освоением новых производственных навыков и профессиональной квалификации, отвечающих запросам и требованиям информационного, сервисного и высокотехнологического общества, готовностью к переобучению, мобильности и смене сектора занятости. Образ жизни в крупнейших российских мегаполисах (прежде всего — в Москве) приближается по характеристикам социального капитала к образу жизни населения европейских, развитых стран, который мы называем «модерным».

Другой тип социального капитала, условно говоря — «домодерный», традиционный — представлен прежде всего средой малых городов и сел. Социальное доверие здесь базируется на непосредственных личных, неформальных связях, групповых и соседских отношениях, этнической или этноконфессиональной солидарности и не выходит за пределы рутинных повседневных обязательств и поддержки, а также — общности интересов, отстаиваемых по отношению к произволу местной власти, ничем, кроме обычая, не ограниченного. Это зона в лучшем случае инерционного, в худшем — деградирующего существования людей, озабоченных более всего сохранением сложившегося образа жизни и потребления. «Физическое выживание» выступает здесь как жизненная стратегия, как императив частного и семейного существования. В этой среде нет и не возникает идеи последовательного улучшения жизни, повышения ее качества; речь может идти лишь об удержании того, что уже есть. Горизонт запросов определен возможностями пассивной адаптации к навязанным извне изменениям. Крайняя ограниченность ресурсов (материальных, образовательных, профессиональной квалификации) обуславливает низкую социальную мобильность, а тем самым — застойный характер бедности и нищеты.

Особенностью этой среды является скудость информационных источников и ограниченность горизонта событий. Кремлевские СМИ, прежде всего ТВ, не будучи связаны с повседневными интересами, проблемами и нуждами этих людей, превращаются в систему воспроизводства рутинных коллективных мифов, до-

ступных для понимания, но не проверяемых практическим опытом. Подобные мифы (образ враждебного окружения страны, внутренних врагов и т.п.) возникли еще в советские времена, они устойчиво воспроизводятся в качестве символов национального единства и легенды власти. Других общих представлений в этой среде и быть не может из-за отсутствия альтернативных каналов информации и авторитетных групп для интерпретации происходящего. В зоне домодерного социального капитала внутренних изменений не может быть, поэтому периферия оказывается хранилищем представлений предшествующей эпохи.

Но самым важным для понимания перспектив эволюции России следует считать сегодня антимодернизационный тип социального капитала. Антимодернизм как уклад жизни представляет собой смесь опыта существования при социализме или инерции советского образа жизни (приспособления к репрессивному государству и его практикам уравнилельной, распределительной экономики) с новыми идеологизированными формами, которые активно использует путинский авторитаризм, — религиозным фундаментализмом, компенсаторным русским национализмом, политическим консерватизмом. Этот образ жизни, включая характерное для советского человека двоемыслие, низкий уровень солидарности, политическую пассивность, запросы, ограниченные необходимостью выживания, исчезнуть сам по себе не может, так как этот жизненный уклад (и соответствующий тип социального капитала) обусловлен существующей территориально-отраслевой структурой экономики и расселения, отражающих характер советской модернизации. Эти группы, зависимые от социальной политики и обязательств государства, составляют базу путинского авторитаризма, они хранители советского прошлого, его символов, ценностей, праздников и ритуалов<sup>1</sup>.

Период ельцинских реформ вызвал массовую фрустрацию, состояние социальной дезорганизации и аномии, рост массового недоверия к политике и отчуждения от нее. Возвращение к авторитаризму при Путине (подавление свободных выборов, независимых СМИ, ликвидация многопартийности) и частичное восстановление полу-патримониальной власти, недифференцированной, безальтернативной,

<sup>1</sup> О росте социальных выплат и сокращении удельного веса доходов от предпринимательской деятельности в России в последние годы см.: Николаев И. Больше социализма — [http://www.gazeta.ru/comments/2012/06/05\\_x\\_4613793.shtml](http://www.gazeta.ru/comments/2012/06/05_x_4613793.shtml)

требующей лишь аккламации, а не участия в политике, сопровождалось ростом массовой удовлетворенности и спокойствия населения, поддержкой режима, остававшейся почти неизменной на протяжении более 10 лет, вплоть до кризиса 2008 г., пока вновь не были серьезно затронуты массовые надежды на «добраго царя» и попечительскую роль государства.

Высокое доверие к персоналиям высшей, но авторитарной власти представляет собой перенос на «национального лидера» представлений, характерных для сферы домодерных отношений, что, естественно, парализует низовой уровень институциональной организации и тем самым блокирует модернизационное развитие целого. Низкое доверие в социальной сфере (к «незнакомым людям») говорит об отсутствии формальных институциональных норм регуляции — права, морали, гражданских институтов. Узкий радиус межличностного доверия компенсирует институциональные дефициты, но со своей стороны стерилизует потенциал универсализма и модерности. Сочетание разных типов социального капитала, образов жизни или сочетание этих пластов культуры и определяет эволюцию социальной системы в России<sup>2</sup>.

**5. Двойственность доверия к опорным институтам: власть, церковь, и армия.** Опросы общественного мнения показывают, что «доверие» к социальным институтам совпадает с массовым признанием их символической «роли» — функциональной значимости в воображаемой картине реальности, их важности для поддержания социальной структуры и организации российского общества. Выражение подобного доверия предполагает и означает полный отказ индивида от участия в политике, от принятия на себя ответственности за происходящее в стране, городе или том месте, где живет индивид, абсолютное разделение политической сферы, понимаемой прежде всего как сфера утверждения отношений господства, и обыденной жизни основной массы населения (см. Приложение, рис. 1). Политика для российского обывателя не является областью солидарных отношений, участия и активности, включая взаимную ответственность, а лишь сферой проявления коллективной идентичности, общих символов.

Первое, на что приходится обращать внимание в интерпретациях результатов опросов общественного мнения относительно

<sup>2</sup> Подробнее об этом см.: Гудков Л. Социальный капитал и идеологические ориентации. К вопросу о векторах эволюции российского общества // Pro et Contra, 2012, том.17, май-июнь, № 55 (в печати).

## СХЕМА ОСНОВНЫХ СВЯЗЕЙ ДОВЕРИЯ/НЕДОВЕРИЯ



репрессивной власти, это принципиальная двойственность понятий и модусов доверия, необходимость разведения «декларативного» и «операционального» кода поведения «доверяющих».

Ценностная оппозиция, возникающая перед нами, когда мы разбираем распределение социального доверия в российском обществе: «верховная власть, неподотчетная обычным людям», — «семья», низовая и традиционная форма элементарной социальной организации, отражает примитивность структуры российского социума и предполагает широкое распространение по отношению к незнакомым людям практического недоверия, обусловленного недееспособностью (с точки зрения обывателя) функциональных институтов или, точнее, обусловленностью их функционирования преимущественно интересами власти (см. схему).

Оппозиция «символические институты» — «функциональные институты» носит принципиально амбивалентный характер, знаки полюсов легко переворачиваются в ситуациях общественного кризиса (или искусственно вызванной ценностной провокации, например, опросов общественного мнения или принудительного публичного поведения). Так, падение доверия к первому лицу в 90-е годы сопровождалось некоторым ослаблением недоверия к функциональным институтам (например, к политическим партиям и общественным движениям, предполагающим личное участие, региональным властям, профсоюзам) и наоборот. Но в любом случае «цена» массового декларативного и публично демонстрируемого (в ситуациях выборов) доверия к власти очень невелика, поскольку выражение его не требует ответственности, и, стало быть, «личные издержки» и «затраты» такого поведения весьма невелики.

Правильнее было бы сказать, что подобное принудительное доверие к власти соединяется с глубоким равнодушием к политике и отчуждением от этой событийной сферы. Левада называл такое поведение «игрой в доверие»<sup>1</sup> («они делают вид, что работают для нас, мы делаем вид, что доверяем им»). Ценностная значимость такого доверия отличается низкой интенсивностью. Напротив, рутинное доверие между взаимодействующими в обычных и повторяющихся ежедневно ситуациях (а такое взаимодействие имеет место только в малых группах, прежде всего в семье или в межперсональных отношениях коллег, иногда — соседей) характеризуется публично неартикулируемой, но очень высокой ценностью и значимостью.

В политике подобную двойственность организованного институционального «доверия» можно увидеть в отношении к конкретным персонажам и публичным деятелям. Рейтинг первых лиц в государстве (с наведенной телевидением «харизмой», с навязанным пропагандой «доверием») превышает в 3 раза ближайшие по списку фигуры политиков — лидеров политических партий или влиятельных министров. Данный показатель не означает ни прагматической оценки результатов деятельности руководителей государства, ни одобрения, ни доминирования личной симпатии или каких-то других позитивных чувств. Этот эффект обусловлен исключительно влиянием статуса, занятием высшей социальной позиции. Его можно считать проекцией сильно эрозированного, но все еще традиционного, как бы «сакрального» и мифологического отношения к власти. Поэтому практические (как правило, негативные) высказывания о работе высших чиновников и министров всегда превышают показатели доверия

<sup>1</sup> Советский простой человек. М., Мировой океан, 1993, с. 31

к любому политику, кроме тандема (см. табл. 4: сумма ответов «нет таких» и «не интересуюсь политикой» колеблется от 21% до 35%, это больше показателей доверия к любому из названных политиков второго ряда). По существу, политическое поле представлено лишь фигурами, занимающими позиции высшей власти, и политиками из третьего ряда, не составляющими для них конкуренции. Поэтому массовое недоверие к политикам (или их низкий рейтинг) следует рассматривать как знаки отсутствия выбора. Между рейтингом первых лиц и рейтингами всех остальных лежит выжженная зона подавленной конкуренции: допустим, разрыв между Путиным и Жириновским, в 2006 году вчетверо больше рейтинга самого Жириновского.

*А) Прагматический характер оценок функционирования власти.* Несовместимость рационального и прагматически обоснованного доверия к первым лицам с мифологическими компонентами (символическим значением патерналистской или харизматической власти) сильнее всего проявилась в период правления Б. Ельцина. Первоначально на него проецировались очень сильные надежды и упования: в конце 1980-х — начале 1990-х годов он воспринимался как борец против партийной номенклатуры и плутократии, бюрократической советской мафии, как лидер демократических сил в России, как спаситель страны от заговора и путча ГКЧП, как герой (фигура на танке, зачитывающая свой судьбоносный указ), позднее — как самодержец, «царь Борис». Но мифологические составляющие его авторитета не выдержали острой публичной критики, исходящей от демократической печати, ТВ, публичного обсуждения каждого его шага. Иллюзии быстро рассеялись, чудо не состоялось. И авторитет Ельцина быстро сдулся. Свои иллюзии и надежды массовое сознание пыталось перенести на других политиков (А. Руцкого, А. Лебеда, Б. Немцова, Г. Явлинского, даже на Е. Примакова), и с каждым шагом все с меньшим эффектом, до тех пор, пока — уже при Путине (осенью 1999 г.) — восстановление цензуры и репрессивного аппарата политической полиции не отключили эти новые институциональные возможности публичной критики и оппонирования власти, рационального анализа действий руководства, вменения ответственности за совершенные ошибки и преступления. ТВ в 2000-е годы превратилось в безальтернативный источник информации для основной массы населения, в орудие кремлевской пропаганды и

политтехнологий. Благодаря этому «рейтинг» Путина устоял и был заморожен.

Уже самые первые социологические исследования, проведенные старым ВЦИОМ в 1989-93 годах, показали преобладание государственно-патерналистских установок у преобладающей массы россиян при одновременно весьма скептическом отношении к выполнению государством своих социальных обязательств<sup>1</sup>. В 1990 г. свыше 60% населения заявляли, что большинство советских людей не смогут «прожить без постоянной заботы, опеки со стороны государства»<sup>2</sup>. В 2011 г. доля таких ответов поднялась до 75% (см. Приложение, табл. 5).

Устойчивость подобных представлений, наблюдаемых уже более 20 лет, заставляет говорить об их функциональности, а это значит, что они воспроизводятся систематическим образом. 60-70% опрошенных выдвигают в качестве легитимирующего принципа государства и отношений власти и населения «заботу» о всех своих подданных и обеспечение им пристойного существования. Если на протяжении 90-х годов, в период проведения первых реформ тоталитарной системы сознание своей полной зависимости от власти еще можно было объяснять как-то «рационально» (равно как и недовольство политикой властей в связи с сокращением масштабов социальной политики из-за отсутствия доходов государства), то в 2000-е годы подобные интерпретации должны были быть отброшены. Проведенная приватизация государственных предприятий, сокращение численности занятых в госсекторе и рост частного предпринимательства, казалось бы, должны были существенно ослабить подобные представления, однако никаких изменений в массовом сознании в этом плане не произошло. Вместе с тем абсолютное большинство россиян заявляет, что в своей повседневной жизни рас-

<sup>1</sup> [Левада Ю.] «По сути дела, это охранительные, контрольные функции, исполняемые как будто в порядке неустанный «отеческой заботы» о подданных. ...В плане эмоционально воспринимаемой символики, возможно, в силу российско-исторических традиций (то, что Николай Бердяев называл «бабьим характером русского народа») да еще пристрастия к оруэлловскому превращению смыслов, система жесточайшего насилия выступала — и более того, воспринималась! — как выражение «материнской» заботы (образ «матери-Родины», но не как «отца»; роль последнего исполнялась лидером, вождем). <...> «Отеческое» государство не пригодно для исполнения тех социально-организующих функций, которые несут западные государственные структуры: это не государство в современном смысле термина». - Советский простой человек, М., 1993, Мировой Океан, с. 16.

<sup>2</sup> [Левада Ю.] «Экономическая основа подобных суждений очевидна: более двух третей населения зависят от государственных предприятий и пособий». - Там же, с. 18.

Таблица 4

**НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?** (приводятся данные о доверии к политикам, названным хотя бы в одном замере не менее 5%; всего названо более 20 персоналий; ранжировано по 2008 г.)

Год, месяц опроса	2006	2007	2008	2009	2010	2011
В. Путин	46	61	60	55	49	41
Д. Медведев	14	21	42	43	40	31
С. Шойгу	20	18	14	17	13	12
В. Жириновский	9	11	9	11	11	16
Г. Зюганов	8	8	7	10	8	15
С. Иванов	16	21	7	4	4	1
В. Матвеев	6	7	7	7	5	3
Ю. Лужков	6	7	7	5	1	1
С. Миронов	2	6	4	5	3	10
Патриарх Кирилл	-	-	-	-	10	6
Нет таких	19	7	12	13	15	15
Не интересуюсь политикой	14	13	9	12	15	15
Затруднились ответить	7	5	6	5	6	5

В % от числа опрошенных, N=1600, декабрь соответствующего года

Таблица 5

**НА ЧТО ВЫ СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ВСЕГО РАССЧИТЫВАЕТЕ?**

Год и месяц опроса	1992	'93	'96	'97	'98	'99	2003	'04	'08	'09	'11
	VIII	III	V	IV	VI	II	XII	II	IV	IX	X
на собственные возможности и силы	80	70	72	77	78	80	78	81	79	74	74
на социальную защиту и поддержку со стороны общества, государства	20	19	21	15	17	13	18	16	18	24	24
затрудняюсь ответить	—	11	6	8	4	7	3	4	3	2	3

считывает исключительно на свои силы и ресурсы, не полагаясь на государство и не веря в то, что власти будут выполнять свои обещания. Значимость декларативной нормы «государство должно больше заботиться о людях» за прошедшие 20 лет лишь усилилась по мере сокращения объемов социальных обязательств и общей деградации социальной сферы: число разделяющих это мнение увеличилось с 57% в 1990 году до 80-83% в 2007-2011 годах; напротив, доля считающих, что «люди должны сами проявлять инициативу и заботиться о себе» снизилась за тот же период с 25% до 9%<sup>1</sup>.

Зондажи общественного мнения, нацеленные на определение прагматических оценок деятельности власти любого уровня, чаще представляют преобладание явно негативных суждений о работе правительства, чиновников, реализации национальных программ, политики «модернизации» и т.п. Большая часть

россиян (график 1) уверены в том, что политики (или чиновники<sup>2</sup>), «люди во власти» заняты лишь собственным обогащением или сохранением своего положения, преследованием исключительно собственных эгоистических и меркантильных интересов<sup>3</sup>. Две трети россиян (65%, декабрь 2010 г.) полагают, что большинство политиков занимается политической деятельностью только ради личной выгоды» (29% не согласны с этим). 39% уверены, что руководители государства и высшие чиновники,

<sup>2</sup> Люди с трудом различают их статус и функции, и это в общем и целом совершенно правильно, поскольку провести границу между федеральными функционерами и чиновниками более низкого уровня, назначаемыми губернаторами или депутатами региональных законодательных собраний, сенаторами или представителями регионов и обратно, в условиях путинизма нельзя в принципе.

<sup>3</sup> Единственным исключением за время наблюдений был момент выборов нового президента страны – Д.Медведева в 2007 году, когда появилась некоторая надежда на новое руководство или перспектива новой, более либеральной политики, но эти надежды очень скоро были признаны несостоятельными и привычное распределение мнений восстановилось.

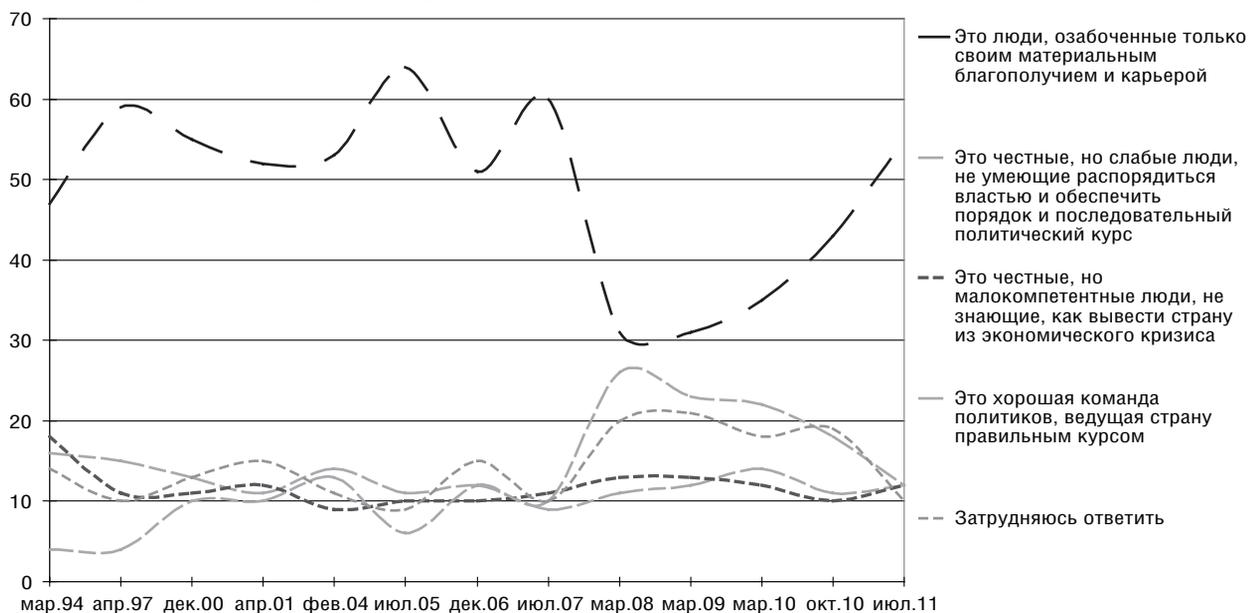
<sup>1</sup> Пресс-выпуск Левада-Центра от 25.10.2011. – www.levada.ru

описывая положение дел в важнейших сферах общественной жизни (экономике, здравоохранении, пенсионном обеспечении, преступности, управлении и т.п.), «всегда» или «в большинстве случаев лгут, скрывают правду», еще 35% полагают, что высшие руководители государства «иногда лгут, иногда говорят правду» в зависимости от ситуации и собственных интересов, и лишь 21% всегда или, как правило, верят им. Если взять самые последние опросы, то мы увидим, что 84% опрошенных россиян считают, что «политики занимаются политической деятельностью только ради личной выгоды», не согласны с этим лишь 11%; 59% отрицательно оценивают деятельность депутатов российского парламента и нынешнего, и предыдущего созыва, одобряют их лишь 19%, остальные затрудняются с ответом, и т.д. (ноябрь 2011 г.). При этом резко критическая оценка конкретных людей во власти сочетается с позитивным отношением к роли государства в целом и ожиданием попечительской социальной политики с его стороны, а также с явно антилиберальной установкой на усиление влияния государства в общественной и экономической сферах (последнее выражается в постоянных требованиях национализации приватизированных ранее отраслей промышленности и земли или, по крайней мере, крупных предприятий и фирм, находящихся сегодня в частной собственности). Степень «реалистичности» или фактической обоснованности подобной оценки не должна вводить в заблуждение, это такие же априорные оценки, как и оценки деятельности первых лиц

государства – Путина или Медведева. Поэтому мы имеем дело с мнимым противоречием. Правильнее было бы говорить о сочетании двух планов восприятия реальности как производном от ясного сознания массой россиян принудительного удержания монополии на власть действующими группировками, узурпирующими средства принуждения населения к повинности и покорности. Разрыв между **должным или идеальным порядком** (демократическими процедурами смены власти, правовым государством, ответственности политиков перед обществом, защитой Конституции, меритократическими принципами подбора кадров чиновничества и т.п.), и **действительным** положением вещей (административным произволом, семейственностью, круговой порукой чиновников, монополией на насилие и т.п.) массовым сознанием воспринимается как непреодолимый и практически неизменяемый (табл. 6). Именно это и определяет иерархический порядок разделения реальности на различные **модальные** зоны, где действуют разные партикуляристские нормы доверия, представления порядочности, доброжелательности и готовности к кооперации.

Массовые представления о роли государства и соответствующие ожидания сводятся к тому, что «власти должны заботиться о населении», обеспечивая его основные потребности – работы, жилья, прожиточного минимума, социального обеспечения, образования и т.п., а население обязано поддерживать власть, работать, защищать «интересы государства», «сознательно» принимая все, что государство от

График 1  
**КАК ВЫ РАСЦЕНИЛИ БЫ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ СЕЙЧАС У ВЛАСТИ?**



него требует, как «исполнение своего патриотического долга» или гражданских повинностей. Сами по себе эти нормы уже апеллировали к до-современному коду и порядку отношений, лишенному эквивалентности, договорности, участия, взаимной ответственности и другим правилам и ценностям современного общества. Реально же эти взаимные ожидания властей и населения никогда не оправдывались, и даже система жесткого принуждения и террора в 1930-50-е годы давала здесь очень ограниченный эффект. Принудительная бедность (или «скромность») существования, умеренность запросов населения оборачивается лукавостью крепостного сознания, демонстрирующего лояльность власти, приверженность ее лозунгам, но предпочитающего ценности частной семейной жизни, ограничивающегося горизонтом этих событий и отношений. Людей, прошедших жесткую школу существования в условиях репрессивного и лживого государства, никак нельзя заподозрить в наивности или простоду-

шии. Они ясно понимают, как должен был бы строиться порядок в правовом и справедливо устроенном государстве, с одной стороны, и на чем он реально выстроен, с другой (табл. 6). Опыт приспособления к постоянному насилию и ежедневной государственной лжи сводится к тому, что навыки владения приемами «демонстрации доверия», «игры в доверие» и «игры в искренность», «доброжелательность» становятся обычным церемониальным кодом социальности в отношениях с властью или теми, кто располагает ресурсами физического или психического принуждения, то есть используются как способы защиты от органов управления, от любых стоящих выше индивида по социальной лестнице.

Это означает, что прагматическое отношение к политике несовместимо с символическим, традиционалистским планом восприятия власти и доверия к ней. Патернализм власти блокирует заинтересованность в формировании правового государства, политику вестернизации, про-

Таблица 6

**НА ЧЕМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДЕРЖИТСЯ СЕЙЧАС ВЛАСТЬ В РОССИИ?**

Власть держится на...	Сейчас держится	Должна держаться	Разница
<b>круговой поруке чиновников, их коррумпированности</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>+32</b>
<b>всей мощи государственной машины, работающей только на интересы власти</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>+26</b>
поддержке избирателей, надеющихся на улучшение своей жизни со стороны власти	26	22	-4
<b>зависимости всех органов власти от главы государства</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>+18</b>
поддержке избирателей-налогоплательщиков, нанимающих власть на определенный срок для обслуживания общих интересов	23	20	-3
<b>неподконтрольности представителей власти обществу и пренебрежении ими законов</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>-20</b>
людях, привлеченных во власть по принципу личной преданности	21	13	+8
<b>страхе людей перед властью и их бессилии в отстаивании своих интересов</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>+18</b>
<b>манипулировании общественным мнением</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>+15</b>
<b>соблюдении Конституции</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	<b>-38</b>
людях, привлеченных во власть по их профессиональным и личным достоинствам (талантам, способностям, инициативе)	9	28	-19
<b>государственной системе, созданной и работающей в интересах общества</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>-37</b>
<b>свободных людей, осознающих свои интересы и умеющих их отстаивать</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>-19</b>
контроле над собственниками	6	8	-2
поддержке со стороны общественного мнения	6	12	-6
свободных собственниках	5	4	+0.6
<b>подконтрольности обществу и строгом соблюдении законов</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>-27</b>
<b>независимости и строгом разделении функций и полномочий всех ветвей власти, их взаимном контроле друг друга</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>-10</b>

2010, июль, N=1600; ранжировано по оценке «сейчас держится».

ведение экономических и социальных реформ, без которых невозможно быстрое развитие экономики и повышение уровня жизни населения, нормализация жизни. Однако критическое отношение в массовом сознании не исчезает, а переводится в другой модальный план, не связанный с возможностями практического действия, что, в свою очередь, подавляет мотивацию собственной активности действующего. Любые прагматические оценки эффективности функционирования и социальных и политических институтов, включая и массовые практические оценки деятельности В. Путина или Д. Медведева, говорят о трезвом понимании населением сути их правления и о низкой удовлетворенности результатами их политической деятельности: за эти годы у страны не было каких-либо существенных достижений. Впрочем, за двумя исключениями: а) относительно большая часть опрошенных (35–40%) отметила, что за годы путинского правления несколько повысился уровень жизни населения (благодаря высоким ценам на нефть); б) Путин восстановил авторитет России на международной арене, как полагает абсолютное большинство.

**Б) Церковь.** Если взять данные докризисных (2007 года) опросов как отражающие более стабильный характер распределения, то мы увидим, что наибольшую степень доверия по отношению к церкви высказывают жители небольших по размеру населенных пунктов, а также сел (около 50%), в то время как среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга лишь 31% считает, что «церковь вполне заслуживает доверия». Уровень доверия к РПЦ значительно выше среди менее образованной части населения: максимум заявленного доверия приходится на группы со средним и ниже среднего образованием (около 44–45%), тогда как с высшим образованием — 32%. Чем моложе респонденты, тем чаще они доверяют церкви, минимум приходится на поколение «перестройки» (40–50-летних — 38%). Высокообразованные и пожилые люди, опять-таки москвичи, в целом относятся к церкви скорее настороженно, здесь максимум негативных ответов; напротив, максимум позитивного отношения к церкви — в селе и малых городах (табл. 7).

Характер столь высокого декларируемого доверия к церкви<sup>1</sup> в обществе, давно секуляри-

<sup>1</sup> Речь идет в первую очередь именно о декларативном доверии и уважении к РПЦ. Сама мысль о том, что церковь может иметь какое-либо иное влияние, кроме «нравственного», вызывает решительное неприятие абсолютного большинства россиян (в том числе — и большинства православных верующих). Большинство опрошенных против того,

зованном и отличающемся высокими показателями массовой аномии, объясняется тем, что церковь номинально восполняет ценностный дефицит после длительного периода всеобщего имморализма и страха. Общество (но по инициативе властей, еще в ельцинское правление) выдало РПЦ кредит доверия на восполнение утраченных традиций и нравственных ориентиров.

Однако церковь — и это важно! — и не пыталась всерьез предпринимать каких-либо практических шагов в этом направлении, сознавая абсурдность и нереалистичность подобных целей. Ограниченность интеллектуальных, образовательных и культурных ресурсов данного института (в отличие от протестантских или католической церкви, а тем более — иудаизма) может служить объяснением того, что в России так и не появилось новых интерпретаций старых традиций, а это была единственная возможность в нехаризматическую эпоху дать смысловые ответы на вызовы времени. Задачи миссионерской работы среди населения были подменены претензиями на духовное господство священников над «русским народом». Церковь довольствовалась тем, что навязала обществу имевшиеся у нее (традиционалистские по виду) обрядовые и догматические суррогаты религиозного понимания жизненных проблем, даже не стараясь особенно скрывать скудоумие готовых рецептов и своих решений реальных нравственных коллизий, возникающих в постсоветской действительности. Благодаря своим связям с властями («симфонией» государства и церкви), а фактически — с помощью спецслужб и МВД устранив основных своих конкурентов (баптистов, свидетелей Иеговы, пятидесятников, евангелистов и др.), РПЦ заняла монопольное положение на рынке религиозных услуг и предалась разработке соответствующих массовому спросу медиальных и пропагандистских продуктов. Это позволило ей претендовать на соответствующую институциональную роль и получать привилегии и блага, связанные с занятием высоких социальных позиций и получением связанных с ними привилегий.

---

чтобы РПЦ играла какую-либо политическую роль или пользовалась поддержкой государства, вмешивалась в повседневные практические дела семьи или навязывала свое понимание во многих вопросах частной жизни. Несмотря на видимый рост числа православных, ставших с конца 90-х годов доминирующим большинством в населении России, больше половины россиян, считают, что основная масса верующих следует моде или ведет себя как «все» их окружающие, а не потому, что они искренне и глубоко уверовали. — См.: Зоркая Н. Православие в безрелигиозном обществе // Вестник общественного мнения, 2009, №2, с. 66–85.

Таблица 7

**ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ЦЕРКВИ?**

<i>Возраст</i>	16-24 лет	25-39 лет	40-54 лет	от 55 лет и старше
вполне заслуживает	48	40	38	44
не вполне заслуживает	13	19	21	15
совсем не заслуживает	7	11	11	16
Соотношение вполне доверяющих и совсем не доверяющих	6.9	3.6	3.4	2.7

<i>образование</i>	высшее	среднее	ниже среднего
вполне заслуживает	32	44	43
не вполне заслуживает	22	18	15
совсем не заслуживает	23	9	10
Соотношение вполне доверяющих и совсем не доверяющих	1.4	4.9	4.3

<i>размер населенного пункта</i>	Москва, Санкт-Петербург	большие города	средние города	малые города	Села
вполне заслуживает	31	31	38	51	46
не вполне заслуживает	20	23	20	15	14
совсем не заслуживает	17	11	16	5	13
Соотношение вполне доверяющих и совсем не доверяющих	1.8	2.8	2.4	10	3.5

2007, в % к числу опрошенных, N=1600

Сама по себе РПЦ никогда бы не смогла приобрести такое широкое влияние на общество, но постсоветская власть, испытывая острый дефицит легитимности и признания, нуждалась в соответствующих услугах церкви. Из-за слабеющей поддержки населением политики реформ правительство Ельцина, скорее инстинктивно, чем сознательно, было вынуждено обратиться к тем ресурсам традиционализма (политического, нравственного, культурного, интеллектуального догматизма), которыми располагала церковь – самый консервативный и архаический из всех существующих в стране социальных институтов. Из всего множества религиозных организаций, оживившихся в период перестройки и краха СССР, свое влияние сохранили только те, которые получили официальное государственное признание, так называемые «традиционные религии» России. Но именно РПЦ заняла в этой сфере монопольное положение. Русская православная церковь московской патриархии стала институциональным суррогатом массовой морали.

Резкое повышение социального статуса РПЦ, претендующей на то, чтобы быть единственной инстанцией в вопросах представления «русской цивилизации», хранителем и выразителем национальных традиций, стало возможным только в ситуации отсутствия групп – но-

сителей авторитета. С приходом на престол патриарха Кирилла церковь все настойчивее заявляет, что лишь она, «тысячелетняя» хранительница русской «духовности» или мистических ценностей русского народа (даже не государство), имеет право судить о легитимности тех или иных социальных форм. Ее смысловые ресурсы – обрядовое (магическое, но не мистическое, не теологическое православие), готовность слабого населения, пребывающего в состоянии длительной или хронической аномии, ценностно или этически дезориентированного, к безропотному и нерассуждающему повиновению фундаменталистски настроенным, в большинстве случаев – менее образованным, чем население в среднем, священникам, которые исповедуют этнически акцентированную государственную религию.

**В) Армия.** Очень схожие с отношением к церкви тенденции отмечаются в распределении массового доверия/недоверия к армии. Армия в России – это институт, навязывающий обществу образцы солидарного, консервативного, иерархически-командного устройства социума. Армия наглядно представляет символическую – парадную – государственную мощь, воплощает в себе дух героического прошлого, имперскую культуру великой державы, этику самопожерт-

ования, доминирование коллективных ценностей над ценностями частной и обыденной жизни. Но и в этом случае в массовом отношении к армии приходится выделять символический (героический, мифологический) план и план практического, рационально обоснованного поведения.

Символический потенциал армии наполнен верой в то, что российская армия (даже в ее нынешнем жалком виде после утраты боевого и морального духа, веры в правоту своего дела и служения) способна защитить страну в случае вражеского нападения. А такого рода страхи – чрезвычайно важные функциональные компоненты и массовых комплексов и фрустраций, и структуры национальной идентичности. Механизмы разгрузки от подобных страхов, в частности – вера в армию, оказываются факторами, определяющими массовую лояльность к «мудрой» и дальновидной власти как силе, стоящей на страже общих (национальных) интересов безопасности. Тем самым, «доверие к армии» входит в общую легенду о России как стране, живущей в перманентном состоянии «осажденной крепости». Однако, милитаристская, имперская, экспансионистская мифология исторического прошлого никак не отменяет негативного, резко отрицательно отношения

к реальной российской армии, недоверия родителей, имеющих сыновей призывного возраста, к положению дел в армии и заявлениям высших офицеров или командования вооруженных сил. В российском общественном мнении утвердились представления о том, что армия разлагается, страдает от дедовщины, коррупции и произвола офицеров. Матери, особенно из более благополучных и обеспеченных, более образованных слоев, категорически не хотят, чтобы их сыновья шли служить. Общество в целом сознает и полную корпоративную безответственность офицерского корпуса за жизнь рядовых солдат, и политическую безответственность генералитета за военные действия на Кавказе, несправедливость участия в подобных боевых действиях подневольных молодых людей, лишенных выбора и свободы<sup>1</sup>.

Самое сильное недоверие к армии высказывают жители Москвы и Санкт-Петербурга (33%, в малых городах и селе – вдвое меньше, 15-17%). Только 13% опрошенных в обеих столицах считают, что армия вполне заслуживает доверия (в селе таких ответов втрое больше – 39%, в малых городах – 37%). Россияне с высшим образованием в полтора-два раза чаще, чем менее образованные группы, настроены критически по отношению к институту армии.

Таблица 8  
**ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ АРМИИ, ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ РОССИИ?**

<i>возраст</i>	16-24 лет	25-39 лет	40-54 лет	от 55 лет и старше	
вполне заслуживает	32	32	30	29	
не вполне заслуживает	27	25	33	35	
совсем не заслуживает	18	22	21	19	
Соотношение «вполне доверяющих» и «совсем не доверяющих»	1.8	1.4	1.4	1.5	

<i>Образование</i>	высшее	среднее	ниже среднего		
вполне заслуживает	24	32	31		
не вполне заслуживает	35	29	31		
совсем не заслуживает	30	19	16		
Соотношение вполне доверяющих и совсем не доверяющих	0.8	1.6	1.9		

<i>размер населенного пункта</i>	Москва, Санкт-Петербург	большие города	средние города	малые города	села
вполне заслуживает	13	30	23	37	39
не вполне заслуживает	37	34	30	30	25
совсем не заслуживает	33	14	29	15	17
Соотношение вполне доверяющих и совсем не доверяющих	0.4	2.1	0.8	2.5	2.2

<sup>1</sup> Гудков Л. Абортивная модернизация, М., РОСПЭН, 2011, с. 156-176.

Нерационализируемое, табуированное привычным страхом репрессий отношение к государству как квазисакральной сущности, представленное в виде остаточного патернализма и доверия к «вождям», руководителям высшего ранга, сочетается с современным и практическим, стойким недоверием к тем властным институтам, которые определяют повседневную организацию практической жизни большинства людей, — суду, региональным и местным властям, милиции, а также профсоюзам или политическим партиям, могущим, казалось бы, представлять и защищать интересы граждан<sup>1</sup>.

Если преобладающая часть социальных институтов, как говорилось, рассматривается как продолжение старых, советских структур (ФСБ, прокуратура, суд, полиция, парламент, региональные и местные власти и проч.), а потому пользуется условным доверием и легитимностью, то новые структуры оказываются под сильнейшим подозрением, отношение к ним окрашено рессантиментом и неприязнью. Частный бизнес, гражданские организации или иные негосударственные социальные новообразования последних двадцати лет, выпадающие из привычной картины планово-распределительной, централизованной государственной экономики, наталкиваются на сильнейшее недоверие населения (прежде всего, населения бедной и депрессивной периферии, где новые рыночные отношения не сформировались или представлены еще в своем примитивно-хищническом виде) и воспринимаются как нелегитимные, мошеннические и полукриминальные, даже если они формально не преступают закон<sup>2</sup>. Особенно это касается

<sup>1</sup> Гудков Л., Дубин Б., Зоркая Н. Российская судебная система в мнениях общества // Вестник общественного мнения, 2010, №4; Хахулина Л. Доверие бизнес-сообщества арбитражным судам и оценка арбитражной судебной системы // Вестник общественного мнения, 2010, №4.

<sup>2</sup> Стойкое недоверие к организациям гражданского (третьего) сектора и практически полный отказ от их поддержки в какой-то степени объясняется и стойкой идиосинক্রазией населения к практике государственного принуждения к участию в псевдо-добровольных («добровольно-принудительных») институтах тоталитарного режима, к выражению лояльности власти через имитацию добровольности, демонстрации «народного волеизъявления» — к участию в пионерских, комсомольских организациях, ДОСААФ, Красном Кресте, обществах пожарников, спасения на водах, защиты лесов, спортивных, ветеранских или любительских союзах. Скептическое отношение россияне проявляют и к деятельности суррогатных организаций, типа федеральной Общественной палаты или ее аналогов в регионах, равно как и к другим таким же формам государственной имитации попыток самоорганизации общества. Несмотря на признанный авторитет некоторых НПО, таких как, например, «Солдатские матери» или «Мемориал», большая часть организаций гражданского сектора дискредитирована властью и воспринимается населением явно негативно. Поэтому принимают систематическое участие в той или иной общественной организации менее

крупного бизнеса, тесно связанного с высшими кругами руководства страны, в меньшей степени — среднего и малого бизнеса.

Резко негативное отношение, или, точнее, — недоверие населения к финансовым институтам обусловлено тем, что на протяжении 1990-х годов власти, вне зависимости от своих партийных или политических пристрастий, многократно обманывали людей, обесценивая накопленные сбережения старших поколений, принудительно меняя курс рубля для того, чтобы снизить давление государственного долга перед населением и т.п. Последствия этого оказались весьма тяжелыми для экономики страны и перспектив ее развития. Несмотря на то, что у определенной части населения есть сбережения, и довольно значительные (в целом эквивалентные сумме иностранных инвестиций в российскую экономику), обеспеченные россияне не торопятся вкладывать их в ценные бумаги или доверять коммерческим банкам. Как и частный бизнес, большинство состоятельных людей при действующей правовой и судебной системе не доверяют свои деньги ни инвесторам, ни государству, ни предпринимателям. Российская экономика в большой степени развивается за счет спекулятивных денег, краткосрочного кредита, не позволяющего реализовать большие проекты без государственного (бюрократического, коррупционного) обеспечения и гарантий.

Иначе говоря, наибольшее сомнение вызывают новые, недавно созданные или «перелицованные», структуры власти, лишенные либо привычной легитимности давно существующего порядка (насилия), либо легитимности советской, идеологической. Социальной базой опорных институтов нынешней политической системы являются группы более инертные, обладающие ограниченными социальными и культурными ресурсами. Однако установки именно этого сегмента российского социума, проявляющиеся в иерархических представлениях о социальной структуре, равно как и в еще более архаической, стертой семантике сакральности высшей власти, характерной для домодерной периферии (России-3 и России-4, в категориях Н. Зубаревич<sup>3</sup>), актуализируются в периоды общественного возбуждения. Как это было в кризисные и переломные моменты 1989-92 и в 1998-1999 годов, они выходят из обычного латентного состояния на первый

<sup>1</sup> населения, хотя формально числятся членами какой-либо общественной организации или союза около 10% взрослого населения.

<sup>3</sup> См.: Зубаревич Н. Цит. соч., сноска 30.

план, провоцируя ожидания харизматического спасителя.

**6. Незавершенная десакрализация власти и государства.** Представления об амбивалентной природе «доверия к власти» в России и ее устойчивости заставляют видеть в их структуре пласты гораздо более давних, если не сказать — архаических, а значит — мало изменяемых, традиционно передающихся представлений. Мы имеем дело с эффектом длительной, но далеко не завершенной десакрализации государства (если понимать сакральное в старом значении этого слова — как священное и проклятое).

Иррациональный характер сферы власти защищает ее от прагматического отношения и критики. Диффузное недовольство властью, которое раз за разом выражает от 20 до 25% населения, является лишь фактором стабильности системы, поскольку отводит раздражение в безопасные формы эмоциональной разрядки («разговоры на кухнях»). Критика коррупции, неэффективности, мафиозного или криминального, неправового характера российского руководства страны не касается сущностной стороны значений власти, а лишь указывает на несоответствие эмпирических проявлений власти ее традиционным для населения или стертым, непроявленным, давно забытым людьми смыслам.

При этом символическое значение власти, ощущаемое членами сообщества, но не могущее быть артикулируемым и рационализируемым в силу традиционных способов воспроизводства этой семантики, заключается в том, что ценности (блага) в обществе всегда распределены не равномерно, а иерархически. Полнота всех мыслимых достоинств и добродетелей, а соответственно, прав или привилегий сосредоточены «наверху», у обладателей высших социальных статусов (благородного сословия, руководства, начальства), тогда как внизу — лишь «подлый народ», недееспособное население, подлежащее управлению и «воспитанию» со стороны властей, вождей, национальных лидеров, диктаторов. При отсутствии открытой конкуренции за власть этот порядок может испытывать определенные напряжения, связанные с массовым недовольством деятельностью властей. Однако подобное недовольство не означает перехода к активным действиям по замене одного состава руководства другим именно в силу традиционного характера отношения к власти. «Бунт» в таких случаях направлен только против личности «главного визиря»,

а не против «султана», функция которого — воплощать надличный традиционный порядок в мире. Другими словами, под современными формами политического устройства России скрываются отношения, характерные для XVI–XVII веков.

«Сакральный», или иррациональный, статус власти означает, тем самым, закрытость легитимных, смысловых оснований этой власти от понимания, от рационализации и, соответственно, от «расколдовывания», от критики и отказа в признании, что, собственно, и разрушало бы иерархическую структуру господства. Чтобы снять этот защитный ореол власти, необходимо понять, в чем, собственно, заключается семантика этого табу, этой неприкосновенности или «божественности» власти, господства. Воспользуемся для наших целей опытом разбора «сакрального», который дан в интересной и поучительной для нас старой работе немецкого теолога Р.Отто «Священное» (она написана в 1917 и не так давно впервые издана у нас в стране)<sup>1</sup>.

Оригинальность подхода Отто заключается, прежде всего, в том, что он отказывается от статического, предметного (или догматического, структурного) изложения сущности сакральности или представлений о сакральном. Он переводит анализ в феноменологический план, описывая проявления сакральности или особенности ее восприятия. Такой подход методологически очень верен: о божестве или сакральном можно говорить только через проявленность воли или силы божества, поскольку божественное или сакральное нельзя описывать в статических или объективных категориях, оно может проявиться только через *воздействие* божественного. Божественное (сакральное), по мнению Отто, не допускает выражения в рациональных категориях и понятиях. Оно может быть схвачено лишь через «свое» проявление, через сопутствующие ему признаки особых психических состояний — религиозного *подъема*, *воодушевления* (с. 116 цитируемого сочинения), *энтузиазма*, переживания необыкновенного, необъяснимого *волнения*, а главное — при возникновении у субъекта этого переживания некоего чувства, близкого к чувству *«тварности»*, ощущения собственной *зависимости* от того, что выше всякого творения, или *осознания собственной ничтожности* перед лицом «объективного» *величия и всемогущества* божества, не-

<sup>1</sup> Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008.

соизмеримости себя (Я) и «высшего начала», что заставляет склониться с трепетом и страхом перед его «гневом» и «ревностью», с ужасом перед необъективируемым, но символизируемым каким-то образом обладателем божественных начал, с экстатической любовью к сакральному объекту. Именно эти признаки или характеристики «сакрального» Р. Отто соединяет в понятие «нуминозного», описывающее опосредующие отношения сакрального и человеческого. Отто полагает, что чувство тварности представляет собой ответную реакцию на проявления нуминозного (там же, с. 118). Однако я бы, с точки зрения социологии, рассматривал эту причинно-следственную цепочку прямо противоположным образом: сознание собственной ничтожности и смирения есть условие «откровения» сакрального — человек должен бесконечно умалить себя для того, чтобы артикулировать или объективировать то, что выше всего профанного и повседневного.

Сакральное, как утверждал Э. Дюркгейм, это перенос значений общества (социального целого) в трансцендентную сферу, в данном случае сопровождаемый нуминозными, как их называет Р. Отто, переживаниями. Разрыв с обычным, привычным, традиционным и нормативным дает эффект «аномии», который и порождает страх, чувство оставленности, покинутости, трепета, ужаса перед возникающим всемогуществом, чувство, что за тобой наблюдают, ведут, что твоя воля оказывается в поле тотального контроля, слежения, а ты сам уже не принадлежишь себе. Элиминация привычного и нормального порождает эффект пустоты значений отдельного человека, молчания его собственных достоинств и ценностей, величия власти и несоизмеримости с ним частного существования, громадности и всеислия государства, в условиях которых субъекту остается воспринимать себя как бесконечную малость. Это и есть главное, что достигается подобной практикой, — безусловная зависимость субъекта опосредована безусловным превосходством объективно «нуминозного».

Иначе говоря, мы имеем дело с процедурами последовательного переворачивания повседневных ценностных приоритетов, дисквалификацией привычных ориентиров и определений реальности, обеспечивающими утверждение, «объективацию» или «репрезентацию» высших ценностных значений, объектов веры не просто в надындивидуальные, а в надколлективные сущности, гипостазирование их в качестве составляющих моментов коллективных мифов

и верований. Важно подчеркнуть, что это не какое-то мистическое блуждание или поиск, а институционализируемая структура действия, ориентированная на предзаданный результат — возвышение коллективных символов веры. Поэтому «страх», или «священный трепет» перед государством (великой державой, супердержавой, великим и ужасным ЦК КПСС, КГБ или их персонификациями) это не боязнь наказания, а предвосхищение несоизмеримого и слишком высокого, значительного, а потому непостижимого и, тем самым, таинственного. В ситуации переживания нуминозного (или нуминозного переживания как такового — восторга и ужаса), индивид лишается собственной воли. Он не принадлежит себе, он чувствует себя не только под надзором высших сил, но и в сфере, несоизмеримой со всем, что было ему дано ранее в его эмпирическом опыте.

Собственно, это пустое (то есть чисто структурное, без содержательного наполнения) значение нуминозности власти и образует главную, важнейшую часть семантики суверенитета российской власти, ее самодостаточности или бесосновного произвола, то есть способности принимать решение в ситуации, определяемой как внеправовая, по К. Шмитту<sup>1</sup>. Любое содержательное наполнение власти (законодательное, идеологическое, политическое и проч.) предполагает ограничение этой автономности или суверенности господствующего. Поэтому, когда в дело вступают конкретные и прагматические интересы акторов, взаимодействующих с «властью», ее представителями или инстанциями государства, немедленно включаются механизмы негативной идентификации, начи-

<sup>1</sup> Ср. изменения семантики заимствованного слова «кураж» — от воинской или иной храбрости до демонстративного насилия над другими («куражиться над кем-то»). В этом, кстати говоря, символический смысл 5%-ных фальсификаций на выборах в путинскую эпоху, вызывающих недоумение иностранных аналитиков («Зачем фальсификации, если Путин или его «Единая Россия» и так имеет преобладающее большинство голосов?»). Фальсификации в данном случае имеют не столько узко прагматический характер, сколько это символ, знак демонстративного насилия, являющегося неременным атрибутом власти, ее наглости или ее суверенности. Но чтобы быть признанным, это насилие должно быть связанным с социальной иерархией, то есть принадлежать исключительно представителям самых высших социальных позиций, входить в семантику власти. Без подобной связи с высшей властью насилие воспринимается населением (средними и низовыми слоями) как криминальное и нелегитимное, как злоупотребление, произвол или мошенничество. Поэтому основная часть населения России никак не реагировала, например, на явно неправовую ситуацию и с рокировкой (46% опрошенных не видели в этой конституционной махинации «ничего особенного», а еще — 25% — считали, что это нормальный порядок передачи власти), как во многих других подобных случаях равнодушного восприятия административного произвола.

нается игра с властью, возникает феномен неполной лояльности и образование некоторого пространства торга, коррупции, «неполноты доверия» ей.

Следует подчеркнуть, что переживания такого рода возникают и осознаются как не подчиняющиеся самому индивиду, как захваченность извне, произвольность этих состояний. Такие состояния коллективного взаимодействия воспринимаются как наполненные высшими смыслами, проявляющими «сущность» вещей и самого человека, как «самость» индивида. Санкционируемые подобным образом значения коллективности, целого, социального порядка получают мощнейший иммунитет от рационализации, закрываются от индивидуального, частного сомнения и критического посягательства на авторитет тех сил или лиц, институтов, которые персонифицируют или символизируют это целое. (Примером этого может служить политтехнологическое оперирование с мифом или образом Сталина, сакрализация войны, превращение ее в национальное торжество вместо того, чтобы расценивать ее как национальное несчастье, бедствие и грязное дело, в которое втянули целый народ его бесчеловечные руководители.)

Специфичность «сакрального» (нуминозного) отношения к власти заключается в том, что любые значения, и прежде всего — значения частной жизни, обстоятельств существования индивида, отдельного человека, девальвируются в перспективе, заданной нуминозным объектом (властью). Это как бы прибор обратной перспективы, бинокль, если смотреть в него с обратной стороны. Поэтому возникающая при этом иррациональность власти блокирует процессы дифференциации и ролевое определение носителей власти или их спецификацию. Невыразимость значений власти (иррационализм) указывает на ритуальный характер отношения к ней. Эти значения могут артикулироваться только в церемониалах (включая и телевизионное шоу — военные парады, выступления первых лиц, богослужения), а в повседневной практике оказываются равноценными голому насилию, принуждению, неподчиненности чиновника здравому смыслу или маленькому человеку (подзаконные процедуры всегда приоритетны перед более высокими, но формальными законами). Отсюда нынешняя близость первых лиц, всего госаппарата, депутатского корпуса к церкви, все более выступающей в качестве магического средневекового института, владеющего волшебными средствами воздей-

ствия на мир.

Напротив, практическое, прагматическое и трезвое отношение к нынешней власти становится возможным только при «взятии в скобки», нейтрализации нуминозной установки сознания. Эта часть структуры массового сознания (другой, частный или субъективный, план структуры двоемыслия) представляет собой выражение демифологизированного, рационально-критического отношения к власти. Оно не просто лишено каких-либо следов нуминозности, а, напротив, обусловлено почти исключительно более или менее актуальными интересами обеспечения повседневного существования. Частный (не коллективный, не геополитический) прагматизм отключает мифологические структуры социального существования. Поэтому так быстро, если не сказать — стремительно, в ситуации кризиса улетучивается «обожание» или даже просто симпатия к «национальным лидерам», исчезают иллюзии значительности и даже простое уважение. Но они — что существенно! — заменяются не какими-то либеральными или демократическими представлениями, а исключительно иронической или цинической установкой в отношении прежнего кумира, равно как и всей сферы политики.

Важно при этом, что любые мотивы и прагматические основания оценки происходящего с этой точки зрения находятся вне пласта традиционализма. Включение этого слоя традиционалистской, не подлежащей рационализации культуры, пронизанной нуминозными отношениями, собственно и создает ощущение неподвижности, пассивного социального существования. Этот остаточный слой замороженного или застывшего крепостного сознания, не изменяющегося, всегда пребывающего как бы вне времени (поскольку его действие уничтожает ценностные значения частного и индивидуального существования и определяющих его интересов), определяет границы возможного для частного человека, сам модус пассивности в ареале антимодерного и домодерного социального капитала. Феномен нуминозного восприятия власти (и социальной структуры) предполагает дисквалификацию собственных возможностей отдельного человека, ограничивая пределы его аспираций, сферу его притязаний. Но вместе с девальвацией чувства собственного достоинства или ценности индивидуальности стерилизуются и условия для возникновения гражданского общества, поскольку политика и общественная деятельность — дело исключительно уважающих себя и самодоста-

точных людей, испытывающих солидарность с такими же, как и они, гражданами, достойными уважения. Еще Аристотель выводил рабов из сферы политики. Крепостное сознание и мстительная, плебейская самозащита от вызовов идеального и ценного блокирует рационализацию своей жизни, возможность политической ответственности и участия в делах, имеющих общую значимость. Там, где значения политики и обыденного человека несоизмеримы (нет общих значений ценного), нет «общества» и развития. Поэтому мифологическое (нуминозное) отношение к власти соотносится с общественным равнодушием и социально-политической пассивностью, покорностью в обычные времена, а в кризисные — с «харизмой», с передачей иллюзий первому лицу, предполагающей не изменение, а возвращение социума в нормальное, привычное состояние.

Рост популярности РПЦ, как и усиление национализма, в последнее десятилетие в России является свидетельством того, что нуминозная структура (слой или конструкция традиционалистских значений и механизмов воспроизводства представлений об обществе и социальном порядке) сознания вполне сохранилась. Однако следует подчеркнуть, что эта структура сознания (система отношения к власти, организация социального порядка, социального существования) опустошена от собственно сакрального: никаких верований в бытие трансцендентных сил здесь нет. Главное — в сохранении механизмов дисквалификации самодостаточной субъективности, блокировании самой возможности ее появления, обесценивания частной жизни как бы от имени символической тотальности, сверхзначимой инстанции, выступающей в роли суррогата трансцендентного или трансцендентального начала, заменителей сферы ценностей или ценностного.

Последовательная кастрация независимых от власти, самодостаточных и признаваемых обществом в качестве таковых групп оборачивается бессмысленностью коллективной повседневности. Российская обыденность лишена ценности, праздничности, приподнятости, значительности того, что связано с политикой. Поэтому нуминозное (в виде РПЦ или националистических мифов) выступает как заместитель ценностей и их инстанций.

**7. Заключение.** Подытоживая все сказанное, я определил бы «доверие» как социальный механизм, характеризующий эффективность или значимость различных институтов общества, а

способность различать границы их действия — как одно из свидетельств дееспособности или социализированности индивидов. Барьеры между различными зонами доверия отмечены социальными ритуалами или церемониями, семантика которых определяется «открытостью» или «закрытостью», универсальностью или, напротив, партикуляризмом норм и правил социальных взаимодействий, спецификой социальных отношений, регулируемых этими институтами. Разные типы доверия указывают на многообразие механизмов и оснований солидарности в обществе. Низкий уровень доверия означает механическую интегрированность общества, наличие многих несогласованных социальных порядков, возникающих из-за гетерогенности институциональных систем, которые функционируют в данном обществе.

Посттоталитарная эволюция обозначила не просто неравномерность или разную скорость изменений в разных сегментах российского общества, но крайне противоречивый, а главное — разнонаправленный их характер. Ситуация социального разлома и разрушения некоторых общих уровней социальной регуляции спровоцировала возвращение к более архаическим пластам культуры и социального поведения, оказавшихся своего рода резервом средств физического выживания в условиях кризиса и резкого падения жизненного уровня. С одной стороны, это активизировало ранее дремавшие, латентные более примитивные формы массового патернализма или ожидания чуда, прихода харизматического героя, вождя, новых спасителей (иногда проецируемых на демократических лидеров и быстрого разочарования в них из-за их несоответствия ожиданиям и иллюзиям), что, в конечном счете, начало далее эксплуатироваться бюрократией и авторитарной властью в собственных интересах. Новые власти пытались использовать для своей легитимации отработанные, непродуктивные символические структуры — имперские, православные или сословные традиции (высокопоставленные чекисты стали претендовать на то, чтобы их считали «новым дворянством», например, С. Патрушев или В. Черкесов). С другой стороны, апелляция к симулятивной архаике, не обеспечивающей смысловую проработку идущих в обществе изменений и, тем более, не порождающей новых смыслов и ценностей, представлений о будущем, становится причиной стремительной деморализации общества, массовой аномии, асоциального индивидуализма и цинизма. Прежние формы компенсаторной

защиты против террора и тотального контроля, выразившиеся в манифестации межличностного доверия в малых группах или в структурах административного рынка, коррупции (блата, сетевого обмена, «знакомств», «связей с нужными людьми» и множестве других подобных форм коммуникации и сплоченности), в новых условиях постсоветской реальности перестали быть значимыми. Прагматическое недоверие к социальным институтам, связанным с властью, при явной идентификации с их символической функцией (а иногда и с персонами, их воплощающими), не меняло и не могло изменить общего авторитарного характера конституции власти, организации системы господства, состояния недифференцированности политической системы – отсутствия системы сдержек и противовесов, блокировку разделения разных ветвей власти. Советские формы доверия, бывшего своего рода «клеем» социальных отношений внутри малых групп и сообществ, но одновременно и механизмом фрагментации социума, девальвировались и перестали быть дей-

ственными. А это, в свою очередь, вело к росту двоемыслия и цинизма, увеличению зон «игры в доверие». Условия выживания и сохранения «советского человека», его тактика адаптации через снижение общих требований морали и ответственности, взаимности и сочувствия к другому, подавляли предпосылки формирования универсалистской этики и права, что, в свою очередь, оказывало угнетающее или даже парализующее воздействие на возможности модернизации России и демократизации российского общества.

Возникает замкнутый круг. Институционализация новых отношений, соответствующих нормам современного, правового и демократического общества, невозможна без повышения доверия людей друг к другу, а доверие невозможно без эффективных социальных институтов. Выход из этого тупика (при всей сомнительности подобного сценария) – в растущей сегментации общества, появлении отдельных анклавов с собственным, модерным типом социального капитала.

## Приложение

Таблица 1

**1. ДИНАМИКА ДОВЕРИЯ РОССИЯН К ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ИНСТИТУТАМ, 1994-2010** (в % к числу опрошенных, без затруднившихся с ответом)

**ВОПРОС: В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ ...**

1. вполне заслуживает;
2. Заслуживает лишь частичного доверия;
3. совсем не заслуживает

**А. 1994-1999 гг.** (ранжировано по «полному доверию» в исходном 1994 году)

Год, месяц	1994	1995	1996	1997	1998	1999
<b>Церковь</b>						
1	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>37</b>
2	15	18	18	22	22	20
3	3	9	9	11	12	12
<b>Армия</b>						
1	<b>36</b>	26	27	28	28	<b>35</b>
2	26	32	34	36	34	31
3	12	20	17	16	19	16
<b>СМИ</b>						
1	20	23	25	26	24	25
2	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
3	16	17	17	16	19	19
<b>ФСБ</b>						
1	20	12	18	19	18	20
2	28	32	33	32	30	33
3	19	24	21	24	25	24
<b>Президент</b>						
1	16	6	22	12	2	2
2	34	32	38	42	20	16
3	35	<b>48</b>	28	36	<b>72</b>	<b>75</b>
<b>Правоохранительные органы (милиция, прокуратура, суд)</b>						
1	14	8	12	13	12	11
2	31	34	36	35	34	33
3	<b>36</b>	<b>39</b>	35	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>42</b>

Год, месяц	1994	1995	1996	1997	1998	1999
<b>Местные (городские, районные) власти</b>						
1	11	13	16	22	18	22
2	32	34	37	37	36	35
3	33	30	29	25	30	28
<b>Областные, республиканские власти</b>						
1	8	9	12	19	15	19
2	32	36	38	37	40	38
3	30	29	27	21	29	25
<b>Профсоюзы</b>						
1	8	6	10	11	11	9
2	17	22	22	27	26	22
3	28	28	32	28	28	34
<b>Парламент (ГД+СФ)</b>						
1	5	4	9	7	6	4
2	32	35	<b>44</b>	42	37	35
3	32	37	21	29	36	<b>37</b>
<b>Правительство</b>						
1	4	4	13	10	4	8
2	36	36	44	45	27	38
3	31	40	24	32	48	35
<b>Политические партии</b>						
1	2	-	4	4	4	4
2	20	-	26	20	29	30
3	44	-	33	18	34	33

Таблица 2

**Б. ДОВЕРИЕ К ИНСТИТУТАМ, 2000-2010 гг.** (ранжировано по 2010 году)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>1 Премьер министр</b>											
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>65</b>	<b>67</b>
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5
<b>2 Президент</b>											
1	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
2	33	30	26	28	28	30	28	19	15	25	25
3	9	7	6	7	8	8	6	5	4	5	4
<b>3 Церковь</b>											
1	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	-	-	-	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>52</b>
2	22	21	22	24	-	-	-	19	25	21	21
3	11	12	10	13	-	-	-	12	10	10	9

Продолжение табл. 2

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>4 Правительство</b>											
1	20	22	24	16	12	14	19	17	30	34	35
2	43	40	39	42	34	42	39	42	39	38	39
3	20	21	22	30	26	29	25	25	13	14	17
<b>5 Армия</b>											
1	35	33	28	27	30	30	26	30	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
2	35	31	36	36	34	33	35	33	33	34	34
3	16	17	21	23	20	21	23	19	12	16	15
<b>6 ФСБ</b>											
1	21	23	23	22	-	-	-	25	32	31	30
2	36	30	32	33	-	-	-	32	29	33	36
3	22	19	20	22	-	-	-	16	12	13	15
<b>7 СМИ</b>											
1	26	24	23	22	-	-	-	25	28	28	30
2	44	45	44	46	-	-	-	39	40	49	43
3	18	18	21	22	-	-	-	22	18	16	19
<b>8 Совет Федерации</b>											
1	11	11	13	10	11	10	13	12	20	22	22
2	40	32	33	37	36	37	36	37	37	35	38
3	23	21	20	25	23	26	23	22	13	16	19
<b>9 Госдума</b>											
1	10	11	11	9	11	10	12	12	24	21	22
2	43	39	43	43	43	41	42	43	44	42	45
3	30	33	31	37	34	37	31	31	17	21	23
<b>10 Прокуратура</b>											
1	12	12	13	11	12	13	14	15	17	21	22
2	36	32	36	32	34	33	31	29	33	37	35
3	29	27	25	33	26	28	26	26	21	21	19
<b>11 Суд</b>											
1	12	14	16	13	14	16	14	15	15	21	21
2	36	34	35	35	34	36	31	34	25	38	39
3	29	29	29	33	29	27	29	26	30	25	23
<b>12 Региональные власти</b>											
1	20	21	19	13	-	-	-	19	28	21	21
2	36	36	36	36	-	-	-	36	34	39	40
3	20	27	29	36	-	-	-	31	25	24	27
<b>13 Местные власти</b>											
1	19	21	21	15	-	-	-	17	24	19	20
2	37	33	33	33	-	-	-	35	33	39	41
3	30	32	35	43	-	-	-	36	30	31	31
<b>14 Милиция</b>											
1	14	12	12	11	10	12	11	13	15	17	16
2	39	33	39	34	35	37	34	38	37	41	41
3	36	41	37	46	43	40	42	36	32	31	35
<b>15 Профсоюзы</b>											
1	11	11	13	13	-	-	-	12	17	16	14
2	28	23	24	28	-	-	-	22	26	26	24
3	29	32	31	32	-	-	-	29	30	29	34
<b>16 Политические партии</b>											
1	7	6	7	4	-	-	-	5	10	6	12
2	31	28	28	29	-	-	-	30	37	38	38
3	34	37	39	43	-	-	-	37	33	36	33

Таблица 3

**2. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ ВЕРИТЕ В ТО, ЧТО ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ИНСТИТУТЫ ИЛИ ЛЮДИ ДЕЙСТВУЮТ В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ?** (по 7-балльной шкале, где 1- полное отсутствие доверия, 7 –полное доверие; приводятся суммированные ответы 1-3, 4, 5-7)

	+5-7	4	-1-3	Затруднились ответить		+5-7	4	-1-3	Затруднились ответить
Суды					Милиция				
1998	24	25	49	2	1998	18	20	60	2
2003	21	18	56	6	2000	13	18	68	1
2004	22	15	57	5	2003	11	13	74	2
2005	21	22	56	1	2005	15	19	65	1
2007	26	17	51	6	2007	21	17	59	3
2009	24	22	47	7	2008				
Депутаты Госдумы					2009	18	18	58	6
1998	13	16	70	1	Президент				
2000	7	12	81	0	1998	14	14	70	2
2003	13	15	68	4	2003	70	9	18	3
2004	12	12	72	4	2005	51	20	28	1
2005	11	14	73	1	2007	51	17	24	8
2007 апрель	13	12	68	7	Губернаторы				
2007 декабрь	<b>22</b>	15	53	10	2000	32	19	49	1
2008	<b>24</b>	16	50	10	2003	39	16	41	4
2009	19	22	50	9	Профсоюзы				
Депутат от вашего округа					1998	13	15	69	2
2000	10	12	77	1	2000	17	20	61	2
2003	18	16	68	8	2005	17	18	64	2
2005	15	15	69	1	Церковь				
Армия					1998	30	17	53	2
1998	33	21	44	2	2000	39	18	42	1
2000	34	23	42	1	2005	43	18	37	2
2003	39	20	38	3	ТВ				
2004	40	20	35	5	1998	23	23	52	2
2005	37	23	39	1	2003	41	21	34	4
2007 апрель	42	16	35	7	2004	30	20	47	3
2007 декабрь	39	16	35	10	Пресса, газеты, журналы				
2008	<b>44</b>	16	31	9	1998	22	25	51	2
2009	<b>46</b>	20	26	8	2003	37	20	27	6
ФСБ					2004	29	20	48	3
2000	49	18	32	1	Частные предприятия				
2003	33	22	41	4	1998	11	16	69	3
2004	33	18	37	12	Местные власти				
2005	32	24	43	1	1998	18	21	61	2
Политические партии					Инвестиционные фонды				
1998	7	12	79	2	1998	5	9	84	2
2000	7	11	82	0	Большинство людей в России				
2003	13	16	66	6	2000	32	27	41	1
2004	13	13	70	4	2005	35	28	36	1
2005	10	13	75	2	2007 апрель	35	20	30	15
2007 апрель	8	13	72	7	2007 декабрь	37	26	30	6
2007 декабрь	19	16	55	10	Большинство знакомых вам людей				
2008	<b>23</b>	16	52	9	2000	<b>55</b>	22	23	0
2009	16	20	56	8	2005	<b>62</b>	19	18	1
					2007 апрель	<b>64</b>	14	15	7
					2007 декабрь	<b>72</b>	16	10	2

Таблица 4

**НАСКОЛЬКО ВЫ В ЦЕЛОМ ДОВЕРЯЕТЕ ...?**

Российским...	Полностью дове- ряю + доверяю	отчасти доверяю, отчасти нет	Не доверяю + совер- шенно не доверяю	Затруднились ответить	Индекс доверия*
Военным	63	27	7	3	56
Учителям	62	28	6	4	56
Священнослужителям	59	24	10	7	49
Врачам	38	41	19	2	19
Журналистам	30	44	22	4	8
Полицейским	26	42	30	2	-5
Судьям	25	41	28	6	-3
Министрам правительства	21	37	35	7	-14
Представителям местной власти	18	40	37	5	-19

Ранжировано по «полному доверию», ноябрь 2011, N=1600, в % к числу опрошенных

\* Индекс доверия построен по формуле: ответы «полное доверие» + ½ «неполного доверия» минус ½ «неполное до-  
верие» + «полное недоверие»

Рисунок 1

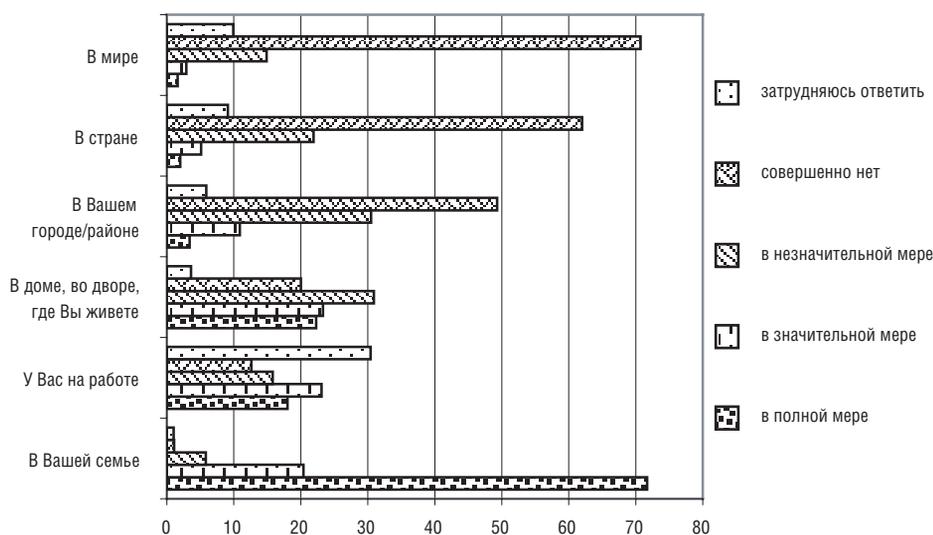
**ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ – (2006)**

Таблица 5

**КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ НЕ СМОЖЕТ БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ В РОССИИ ПРОЖИТЬ БЕЗ ПОСТОЯННОЙ ЗА-  
БОТЫ, ОПЕКИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА?**

	1990	1997	2007	2008	2009	2010	2011
Большинство сможет прожить без опеки государства	21	17	21	15	15	15	19
Большинство не сможет прожить без опеки государства	62	72	74	81	80	77	75
Затруднились ответить	17	11	5	4	5	8	6

Таблица 6

**КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, В КАКОЙ МЕРЕ СЕЙЧАС РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ?**

	2001, ноябрь	2006, декабрь	2010, декабрь
В очень сильной мере + В довольно сильной мере	11	9	9
В довольно слабой мере + Практически не контролирует	82	83	80
Затруднились ответить	7	8	11

N=1600

Таблица 7

**КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НА ЧТО В ОСНОВНОМ НАПРАВЛЕННЫ СЕЙЧАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / УСИЛИЯ...**

	На защиту ...			
	Интересов государства / власти	Интересов / безопасности Населения	Собственных интересов	Затруднились ответить
Высших гос. чиновников	17	12	63	8
Спецслужб	38	25	24	14
Генпрокуратуры	41	19	22	18
Полиции	_*	41	39	20

\* – данный вариант ответа отсутствует; октябрь 2011, N=1600

Таблица 8

**КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОВПАДАЮТ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА?**

	Ноябрь 2007	Октябрь 2011
Определенно да + скорее да	28	24
Скорее нет + определенно нет	62	69
Затруднились ответить	9	7

N=1600

Таблица 9

**ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В РОССИИ СЕЙЧАС НЕ СОВПАДАЮТ? (в % от числа тех, кто считает «не совпадают»)**

	Ноябрь 2007 (N=1000)	Октябрь 2011 (N=1100)
Нет «обратной связи» между теми, кто принимает решения наверху, и населением	19	21
Власти живут за счет населения и поэтому вынуждены его обманывать	29	30
Интересы власти и населения совпадают только в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность	14	15
У власти и населения всегда разные интересы и цели	34	32
Затруднились ответить	4	2

График 1

**БЫВАЮТ ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ТАКИЕ СИТУАЦИИ В ЖИЗНИ СТРАНЫ, КОГДА НАРОДУ НУЖЕН СИЛЬНЫЙ И ВЛАСТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, «СИЛЬНАЯ РУКА»?**